



ГУСТАВ
МАЙРИНК

Зеленый лик

АЗБУКА КЛАССИКА

Густав Майринк

Зеленый лик

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=157690

Густав Майринк «Зеленый лик». : Азбука-классика; Санкт-Петербург;

2004

Аннотация

Произведения австрийского прозаика Г. Майринка стали одними из первых бестселлеров XX века. Он – из плеяды писателей, которые сделали «пражскую школу» знаменитой. «Зеленый лик» – второй после «Голема» роман Майринка. Он также хранит в своей основе старинное предание. Место Голема в «Зеленом лике» занимает Агасфер, или Вечный Жид, который, согласно легенде, подгонял ударами несущего крест Спасителя, за что и был обречен на вечные скитания.

Перевод выполнен В. Фадеевым специально для издательства «Азбука-классика».

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	4
ГЛАВА ВТОРАЯ	24
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	48
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	73
ГЛАВА ПЯТАЯ	103
ГЛАВА ШЕСТАЯ	131
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	150
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	187
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	205
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	225
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	246
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	268
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	290
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	305
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	328

Густав Майринк

Зеленый лик

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Салон-иллюзион
ХАДИРА ГРЮНА

– прочел изящно одетый иностранец, топтавшийся на тротуаре Йоденбреестраат, когда на стене дома напротив заметил черную вывеску с презанятной надписью, выведенной белыми, с кудрявой вычурой буквами.

Из любопытства, а может быть, потому что ему самому надоело тешить любопытство толпы, которая с голландской медвежатостью надвигалась на него, сужая кольцо и отпуская замечания по поводу его сюртука, сверкающего цилиндра и перчаток – диковинных в этом квартале Амстердама вещей, – он пересек мостовую, лавируя между собачьими упряжками, которые везли тележки с овощами. За ним увязались двое уличных мальчишек. Утопив руки в глубинах синих холщовых порток – кривые спины, впалые живо-

ты, мотни на тощих задах, шеи, как гипсовые пальцы, обмотанные красными платками, – они молча тащились за ним, шаркая деревянными башмаками.

Дом, где находилась лавка Хадира Грюна, занимавшая часть узкой стеклянной галереи, которая опоясывала все здание, а справа и слева тянулась по двум параллельным переулкам, – этот дом, судя по мутным безжизненным окнам, служил каким-то складом. Его тыльная сторона выходила на так называемый храхт – судоходный канал, один из многочисленных здесь водных торговых путей.

Построенное в виде приплюснутого куба здание напоминало верхний ярус мрачной четырехугольной башни, с годами провалившейся в мягкую торфяную почву по самую шею, то бишь каменное жабо, заменяемое здесь стеклянной галереей.

Посреди витрины, на тумбе, обитой красным сукном, покоилась темно-желтая мертвая голова из папье-маше. У нее был какой-то чудной вид: верхняя челюсть непомерно велика, этакий бугор под носовыми отверстиями, глазницы и височные впадины оттенены черной тушью, а в зубах зажат пиковый туз. «Het Delp-sche Orakel, of de stemm uit het Geesteryk»¹ – гласила надпись наверху.

К большим латунным кольцам, цепью свисавшим с потолка, крепились гирлянды аляповатых картинок. На них были изображены усеянные бородавками физиономии тещ с

¹ «Се дельфийский оракул, глас из царства духов» (гол.).

висячими замками на губах или страховидные супружницы, грозно воздевшие метлы; другие портреты отличались деликатной мягкостью красок, коими были выписаны пышнотелые молодки в неглиже, стыдливо прикрывающие вырез на груди; пояснительная надпись рекомендовала: «Смотреть на свет. Для гурманов».

По соседству с тюремными кандалами, означенными как «Знаменитая гамбургская восьмерка», рядом лежали египетские сонники, рукотворные козявочки и тараканы (для подбрасывания в пивную кружку), самораздуваемые каучуковые ноздри, реторты с красноватой жидкостью (превосходный любовный градусник, или неотразимый прелестник в обществе дам), стаканы для игральных костей, блюда с монетами, «купейный жупел» (верное средство для господ коммивояжеров, желающих завязать приятное знакомство во время длительной поездки) в виде волчьей челюсти как пикантного приложения к усам; и над всем этим великолепием – благословляющий жест восковой женской ручки с бумажным кружевом на запястье, простертый из линялой черноты витринного задника.

Движимый не столько покупательским интересом, сколько желанием выбраться из облака рыбного запаха, распространяемого обоими самозваными «пажами», иностранец вошел в лавку.

В углу помещения, положив ногу на ногу, в лаковых туфлях с арабесковым узором, сидел смуглолицый щеголь.

Сверкая фиолетовым глянец выбритых щек и пробором жирно напомаженной шевелюры (типично балканская физиономия), он углубился в чтение, что не помешало ему пронзить посетителя своим острым взглядом. И как раз в этот момент на перегородке в рост человека, отделявшей зальчик для клиентов от внутреннего помещения лавки, с грохотом опустился ставень окна, и в проеме показался декольтированный бюст, принадлежавший барышне с обольстительными голубыми глазами и белокурой челкой на лбу.

По акценту посетителя и его неловкой голландской фразе: «Покупать... что-либо любое!» она мгновенно сообразила, что перед ней – соотечественник, австриец, и тут же принялась по-немецки толковать ему про фокус с тремя оказавшимися у нее в руке пробками. При этом она пустила в ход свои испытанные женские чары со всем богатством оттенков – от точного наведения груди на живую цель до почти теллепатически тонких флюидов, излучаемых ароматом кожи, который она умела сделать еще более обворожительным, как бы невзначай взмахнув рукой и обдав визави дыханием подмышек.

– Вы видите перед собой три пробки, почтеннейший господин. Не так ли? Первую я кладу в правую руку, за ней вторую и закрываю ладонь. А третью я положу, – она улыбнулась, слегка зардевшись, – к себе в кармашек. Сколько же пробок у меня в руке?

– Две.

– А вот и нет. Три.

Так и вышло.

– Этот фокус называется «летающие пробки» и стоит всего два гильдена.

– Хорошо. А в чем тут штука?

– Не соблаговолит ли господин сперва заплатить? Такой уж у нас порядок.

Господин выложил два гильдена, за что был вознагражден повторением номера, основанного на ловкости пальцев, а также – новыми волнами аромата женственности и четырьмя пробками, которые сунул в карман, преисполнившись восхищения коммерческой тактикой фирмы «Хадир Грюн» и непоколебимо убежденный в неподражаемости продемонстрированного чуда.

– Вот перед вами четыре железных кольца для гардин, – вновь начала колдовать молодая дама, – первое я кладу...

Тут ее присказку прервали ворвавшиеся с улицы громкие вопли, сопровождаемые пронзительным свистом, в тот же миг двери лавки распахнулись и со звоном захлопнулись.

Иностранец испуганно обернулся и увидел на пороге фигуру, весь облик которой поверг его в величайшее изумление.

Это был огромный толстогубый зулус с черной курчавой бородой. Все его облачение составлял клетчатый плащ и красный обруч на шее. Сочащиеся бараньим жиром волосы

искусно зачесаны и вздыблены, так что казалось, он носит на голове ступу из эбенового дерева. В руке он держал копье.

«Балканец» вскочил со своего кресла, отвесил дикарю глубокий поклон, услужливо принял копье, пристроив его в стойке для зонтиков, и, отдернув занавес с учтивыми словами: «Als't u belieft, Mijnheer. Hou gaat het, Mijnheer?»² – проводил гостя в соседнюю комнату.

– Не угодно ли продолжить здесь? – вновь обратилась к иностранцу молодая дама, впуская его к себе за перегородку. – И немного посидеть, пока толпа не утомится.

С этими словами она поспешила к стеклянной двери, которую на сей раз распахнул какой-то увалень. Он стоял раскорякой на пороге, задиристо выставив грудь, но не успел он излить весь поток проклятий, адресованных, вероятно, зулусу: «Stik, ver-rek, god verdomme, fall dood, stik de moord!» – как был вытолкан дамой, которая закрыла дверь на засов.

Та часть магазина, где очутился иностранец, представляла собой разделенное шкафами и турецкими портьерами помещение с несколькими креслами, а также пуфами по углам и круглым столом в середине, за которым сидели два пожилых господина солидной комплекции, скорее всего голландские или гамбургские торговцы. При свете арабской лампы с электрической начинкой они прилипли к окулярам каких-то ящичков, судя по жужжанию – миниатюрных синематографических аппаратов.

² Прошу вас, господин. Как поживаете, господин? (гол.)

Темный коридор, образуемый складскими стеллажами, упирался в маленькую контору с бельмастым оконцем, выходящим на боковую улицу. Перед бюро стоял прямо-таки ветхозаветный старый еврей в лапсердаке, с белой бородой, пейсами и в шелковой ермолке. Лицо его скрывала тень, но было видно, что он делает записи в грессбухе.

– Скажите, барышня, что это за негр к вам пожаловал? – спросил иностранец у продавщицы, которая уже вернулась и предложила продолжить номер с гардинными кольцами.

– Ну как же! Это мистер Узибепю. Гвоздь программы зулусской труппы в цирке Карре. Шикарный мужчина, – добавила она с сияющим лицом. – У себя на родине он, можно сказать, *medicinae doctor*.

– Да-да, целитель, понимаю.

– Целитель. А тут у нас он учится кое-чему получше, чтобы потом блеснуть перед соплеменниками, а там, глядишь, и на трон скакнуть. Ему дает уроки сам профессор пневматизма господин Циттер Арпад из Пресбурга.

Она слегка раздернула занавес и дала возможность иностранцу заглянуть в кабинет, стены коего были оклеены картами для игры в вист.

С двумя скрещенными кинжалами в горле и всадив уже обагранный топор в зияющую рану на голове, «балканец» мигом проглотил куриное яйцо и тут же извлек его из уха зулуса, который в немом изумлении стоял перед ним, облаченный в леопардовую шкуру.

Чужестранец был бы не прочь продлить наблюдение, но продавщица быстро сомкнула гардины, поймав осуждающий взгляд господина профессора, к тому же ее сорвал с места пронзительный звонок телефона.

«Какой причудливой пестротой заиграет мир, если не согласишься рассмотреть его поближе и оторвешься от так называемых серьезных вещей, которые доставляют нам только страдания и неприятности», – вслух подумал иностранец, снимая с полки, заставленной всевозможными безделушками, маленькую открытую шкатулку. Он рассеянно втянул ноздрями ее запах. Шкатулка была наполнена крошечными резными коровками и деревцами с листвой из ядовито-зеленой пакли.

Этот запах не спутать ни с каким другим, аромат смолы и краски на мгновение приворожил его. Рождество! Детские годы! Минуты томительного ожидания у замочной скважины; колченогий стул, обтянутый красным репсом с масляным пятном на самом видном месте. А милый шпиц Дурудельдутт, да, да, так его звали, ворчит под диваном и отгрызает ногу у игрушечного часового, а потом, зажмурив левый глаз, с обиженным видом выползает из укрытия – это пружина, выскочившая из механизма, щелкнула его по мордочке. Шуршит хвоя, а горящие красные свечи на елке уже обросли восковыми бородками.

«Ничто не может так быстро вернуть детство, как запах лака, которым пахнут нюрнбергские игрушки, – иностранец

стряхнул с себя чары. – Ничем хорошим воспоминания не кончаются. Сначала жизнь кажется слаще меда, потом вдруг грозит строгим взглядом школьного тирана и, наконец, свирепой дьявольской гримасой. . . Нет, нет, довольно! – Он повернулся к вертушке с книжными полками. – Книжки-то все с золотым обрезом». Покачав головой, он начал читать на тисненых корешках странные, никак не вязавшиеся с обстановкой слова: Ляйдингер Г., «История боннского академического хорового ферейна», Акен Фр., «Основы теории категорий времени и залога в древнегреческом языке», Нойнауге К. В., «Лечение геморроя в эпоху классической древности». – «Ну что ж, никакой политики, и то слава Богу». И он решил полистать труд под названием: «О рыбьем жире и его растущей популярности», т. III, автор – Аальке Потт.

Тусклая печать и скверная бумага разительно контрастировали с роскошным переплетом.

«Неужели я ошибся и это вовсе не гимн мерзкой слизи?» Он открыл первую страницу и, просияв, прочитал:

«Библиотека Содома и Гоморры».

Сборник для старых холостяков

(юбилейное издание).



– Вот ведь как! Корешок сулит высокие материи про какие-нибудь «принципы бытия в XX веке», снаружи нудное наукообразие, а внутри – прельстительная правда: деньги или бабы, – с довольным видом пробормотал любознательный господин и вдруг разразился громким смехом.

Тут один из упитанных коммерсантов нервно отскочил от аппарата (другой, голландец, невозмутимо продолжал свое занятие) и начал что-то лопотать про «феерицкие виды города», он спешил поскорее удалиться, силясь вернуть своему млеющему от испытанного визуального наслаждения

свиному рылу привычную мину благородного негоцианта, неуклонно следующего строгим жизненным принципам. Но в это самое время с ним сыграл непристойную шутку черт, великий мастер искушать простаков, приняв вид досадной случайности, однако с несомненным намерением не оставлять более добродетельную душу в неведении относительно фривольной атмосферы, в которой она оказалась.

Слишком торопливо и размашисто влезая в пальто, коммерсант задел рукавом и тем самым привел в движение маятник огромных настенных часов. В результате на них распахнулась дверца с живописным изображением семейных идиллий, но вместо ожидаемой кукушки показалась восковая голова, а затем едва прикрытый торс женской персоны с немислимо нахальными глазами, и под аккомпанемент звона, возвещающего двенадцатый час, голова простуженным голосом пропела:

Расстараемся
Да расстоляримся!
Вжих-вжих!
Тук-тук!
Не наскочит нож на сук.

«На сук, на сук, на сук», – заладили вдруг часы, переходя на хриплый бас. То ли черт смилостивился, то ли волосок попал в механизм.

Не желая и далее быть игрушкой лукавой нечисти, сын

морской державы негодуяюще пискнул: «Сёрт знает сто такое!» – и рысцой пустился наутек.

Несмотря на то что иностранец имел представление о чистоте нравов нордических племен, он все же не мог вразумительно объяснить себе чрезмерное смятение почтенного господина, пока не пришел к неуверенному предположению, что где-то уже встречался с ним – не исключено, что их представили друг другу в каком-нибудь обществе. В памяти возникла мимолетная, а потому смутная картина: пожилая дама с тонкими чертами печального лица и красивая, совсем юная девушка; это укрепило иностранца в его предположении, но ни места знакомства, ни имен он вспомнить не мог.

Да и лицо другого клиента, поднявшегося из-за стола и бесцеремонно ощупывавшего чужака презрительным взглядом размысленных голубых глазок, ничего не подсказывало. Это был совершенно незнакомый человек – нахрапистый самоуверенный тип.

Продавщица все еще говорила по телефону. Судя по ее ответам, речь шла о большом заказе для какого-то мальчишника.

«Собственно, и мне бы пора уходить. Чего же я жду?»

На него накатила внезапная усталость, он зевнул и опустился в кресло.

«С ума можно сойти или с чего угодно, – подумалось вдруг ему, – от бесконечной нелепицы, которой судьба окружает человека. Просто диву даешься! И почему тошно же-

лудку, когда мерзость мозолит глаза?! Причем тут, Боже правый, пищеварение?... Нет, не в мерзости дело, – размышлял он, – даже среди красот картинной галереи может потянуть на рвоту. Есть, должно быть, какая-то музейная болезнь, о которой еще не знают врачи. Или же все, что создано человеком, будь оно прекрасно или отвратительно, испускает тлетворный дух мертвечины? Не сказал бы, что меня тошнило при виде безлюдной, совсем необжитой земли, отнюдь. Привкус консервной жести присущ всему, что именуется „предметом“, отсюда, кстати, и слабость десен». Он невольно улыбнулся, вспомнив затейливое высказывание своего друга, барона Пфайля, который пригласил его посидеть сегодня вечером в кафе «Золоченый турок» и который всеми фибрами ненавидел все, что имеет отношение к живописи с линейной перспективой. Вот его слова: «Грехопадение началось не с надкуса яблока, это бредовый предрасудок. Оно началось с развешивания картин в жилых помещениях! Не успевает каменщик выровнять стены, как появляется черт, переодетый художником, и малюет на них „дыры с перспективой“. А дальше происходит и вовсе непотребное, хоть волком вой: в один прекрасный день уже сам хозяин во фраке и в регалиях возникает на стене столовой рядом с Исидором Прекрасным или каким другим коронованным идиотом с грушей на плечах и губищами ботокуда³».

«Что верно, то верно, надо уметь во всем находить смеш-

³ *Ботокуды* – название группы индейских племен в Бразилии.

ное, – продолжал свои размышления иностранец, – ведь, казалось бы, без всяких причин улыбается Будда, каким мы знаем его по статуям, а вот скульптуры христианских святых прямо-таки слезу точат. Если бы люди почаще улыбались, возможно, не было бы войн. Я уже три недели слоняюсь по Амстердаму, взяв за правило не обращать внимания на названия улиц, не интересоваться архитектурными достопримечательностями и тем, куда и откуда держит путь какой-либо корабль. Я не читаю газет, не хватало мне только „последних известий“ о том, что повторяется из века в век, живу в доме, где мне чуждо все до последней мелочи, скоро я стану единственным известным мне частным лицом. Завидев какую-нибудь вещь, я уже не интересуюсь тем, чему она служит, – она вообще не служит, наоборот, люди служат ей. Почему же я так живу? Да потому, что мне надоело быть одним из тех, кто плетет аксельбант культуры: сначала мир, чтобы подготовиться к войне, потом война, чтобы добиваться мира, и так до бесконечности. Я хочу, подобно Каспару Хаузеру⁴, очутиться на новой, иной земле, удивляться совершенно по-новому, как это удалось бы младенцу, если бы он в одно прекрасное утро проснулся взрослым человеком, потому что я жажду законченности и не желаю вечно оставаться запятой. Я отказываюсь от „духовного на-

⁴ *Каспар Хаузер* – найденный, прошедший детские и юные годы в заточении, в 16-летнем возрасте, не зная человеческой речи, впервые появившийся среди людей в Нюрнберге. Предположительно – внебрачный сын герцога Баденского. Герой одноименного романа Якоба Вассермана (1908 г.).

следия" своих предков в пользу государства, и уж лучше научиться видеть старые формы новыми глазами, чем, как до сих пор, – новые формы старыми глазами; быть может, они обретут вечную юность!... Мне удалось неплохо начать, но предстоит научиться смотреть на все с улыбкой, а не просто удивляться».

Ничто не обладает таким снотворным эффектом, как шепотливые речи с невнятной сутью. Приглушенные, но очень торопливые реплики, которыми за занавесом обменивались «балканец» и зулус, оказали на чужеземца усыпляющее действие, и он на мгновение действительно погрузился в глубокую дрему.

Но тут же, вынырнув из ее глубин, проснулся с таким ощущением, будто почерпнул в самом себе невысказанное множество вразумлений, однако как некая фантастическая квинт-эссенция в сознании удержалась одна сухая фраза, этакий узел самых свежих впечатлений и разогнавшихся мыслей: «Обрести вечную улыбку труднее, чем на всех кладбищах земли отыскать мертвый череп, который ты носил на плечах в прежней жизни. Человек должен выплакать из головы старые глаза, лишь тогда он сможет с улыбкой смотреть на мир новыми глазами».

«Ну, даже если это и трудно, буду искать мертвый череп!» Иностранец уцепился за идею, навеянную сном, в полной уверенности, что бодрствует, на самом же деле он снова впал в глубокое забытие. «Я еще заставлю вещи говорить со мной

ясным языком и открыть свой истинный смысл. Я отменю старую азбуку, столь удобную для них раньше, когда с многозначительной миной они вдували мне в ухо старый хлам вроде: „Вот он я, медикамент, я излечу тебя, когда ты обьешься, или вот я – лакомый кусок, я заставлю тебя перегрузить желудок, чтобы ты снова мог принять лекарство“.

Наконец-то я оценил ехидную максиму моего друга Перайля о том, что все на этом свете кусает свой собственный хвост, и, если жизнь не может давать более разумных уроков, не лучше ли удалиться в пустыню, питаться акридами и облечься в дикий мед».

– Удалиться в пустыню и постигать тайны высокой магии – увы, весьма самонадеянное желание для такого глупца, который за дешевый трюк с пробками заплатил серебряной монетой. Вы умудрились не заметить разницы между иллюзией и реальностью и даже не подозреваете, что в книгах жизни есть нечто такое, о чем умалчивают тома с тисненными корешками. Это вам, а не мне следовало бы зваться Грюном⁵, – провещал вдруг низкий дрожащий голос в ответ на мечтательный монолог иностранца. Он в изумлении поднял глаза – перед ним стоял тот самый еврей, владелец лавки.

Бедняга содрогнулся от ужаса, подобного лица он еще не видел.

Ни единой морщинки, черная повязка на лбу. И тем не менее лицо было изрезано глубокими бороздами, так выгля-

⁵ Грюн (grün) – зеленый (лат.)

дит море с высокой, но совершенно гладкой волной. Глаза, как черные ущелья. И все же это – человеческие глаза, а не провалы. Кожа отливала оливковой прозеленью и казалась бронзовой, должно быть, так же, как лица людей незапамятного золотого века – лица, которые легенды уподобляют зеленому золоту.

– С тех пор как луна, горняя странница, кружит по небосклону, – продолжал старец, – длится и мое земное странствие. Видел я на своем веку обезьяноподобных людей с каменными топорами в руках, они выходили из деревянного лона, в деревянную же колоду и уходили, – он чуть помедлил, – из колыбели во гроб. Они и доселе как обезьяны с топорами в руках. Глаза у них смотрят только вниз и силятся постичь до конца бесконечность, сокрытую в малом.

Даже если они и разглядели, что в ничтожном черве копошатся миллионы живых существ, а в тех – миллиарды жизней, им все еще невдомек, что так ни до какого конца не добраться.

Я же – не только вниз, но и вверх взирающий, плакать я давно отвык, а улыбаться еще не научился. Мои ноги омывал всемирный потоп, но мне не доводилось видеть человека, у которого была бы причина улыбаться. Правда, я мог не заметить его и пройти мимо.

Теперь у ног моих плещется море крови, а тут является некто, дерзающий улыбаться! Не могу поверить. Уж не дожидаться ли мне тех времен, когда сам огонь окатит меня сво-

ими валами.

Иностранец надвинул цилиндр на самые глаза, заслоняясь от жуткого, повергающего в трепет лика, – даже дыхание перехватило. Неудивительно, что в таком состоянии он не заметил, как старый еврей последовал к своей конторке, а продавщица на цыпочках вернулась на исходную позицию, достала из шкафа клееный череп, подобный тому, что красовался на витрине, и бесшумно поставила его на табурет.

И тут, когда цилиндр посетителя упал на пол, девица мигом подняла его, опередив своего клиента, и тут же перешла к делу:

– Перед вами, сударь, так называемый Дельфийский оракул⁶, благодаря ему мы можем прозреть будущее и получить ответы на вопросы, которые дремлют, – она скосила глаза на свой декольтированный бюст, – в глубине души. Прошу вас, господин, мысленно задать какой-нибудь вопрос.

– Да-да. Конечно, – пробормотал господин, все еще не оправившись от последних впечатлений.

– Смотрите, он уже зашевелился!

Череп разомкнул челюсти и, словно пожевав что-то, выплюнул скрученный клочок бумаги, проворно подхваченный и развернутый дамой, после чего облегченно клацнул зубами.

⁶ *Дельфийский оракул*. – Дельфийский храм у истока Кастальского ключа был главным центром почитания Аполлона; восседавшая на треножнике жрица Аполлона – пифия – давала предсказания, допуская самые широкие толкования. Оракул был известен с VIII в. до н.э.

Утолится ли жажда твоей души?

Рубись твердой рукой и ставь волю выше желаний!

Было написано красными чернилами (уж не кровью ли?) на полоске бумаги.

«Жаль, что я не запомнил вопроса», – подумал иностранец.

– Сколько с меня?

– Двадцать гульденов.

– Ну что ж. Извольте. – Он хотел забрать череп с собой, но передумал. – «Этак меня на улице за Гамлета примут».

– Пришлите его, пожалуйста, мне на дом. Вот деньги.

Он невольно бросил взгляд на конторку у окна: старый еврей с подозрительной неподвижностью склонился над бумагами, будто все это время ничем, кроме своего гроссбуха, и не интересовался.

Затем в блокноте, протянутом продавщицей, клиент записал имя и адрес:

Фортунат Хаубериссер

Инженер

Хойхрахт, 47

и все еще в некотором замешательстве покинул салон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вот уже который месяц Голландию наводняли иностранцы всех национальностей. Как только закончилась война и поутихли внутренние политические баталии, многие тысячи двинулись за пределы отеческой земли, чтобы в нидерландских городах найти постоянное пристанище или хотя бы использовать их как промежуточную станцию и уж там пораскинуть умом, на каком клочке земли лучше обосноваться.

Не сбылось примитивное пророчество, что с окончанием войны возможна миграция только беднейших слоев населения из наиболее пострадавших местностей. Корабли ломились от живого груза, и все равно их не хватало для всех желающих податься в Бразилию или иную страну, считавшуюся раем земным. Число эмигрантов, которые кормились трудом своих рук, не шло ни в какое сравнение с оттоком из Европы тех, кто сколотил какое-то состояние и кому надоело терпеть убытки под нарастающим налоговым бременем, то бишь так называемых трезвомыслящих; не шло в сравнение и с массой людей интеллектуального труда, изверившихся в возможности со своим скудным заработком выстоять в борьбе за существование.

Если даже в мерзопакостное мирное время доход трубо-чиста или мясника заметно превосходил оклад университетского профессора, то теперь мыслящие жители Европы ока-

зались у последней черты, и древнее проклятие «В поте лица твоего будешь есть хлеб»⁷ обрело прямой, а не переносный смысл; те, кто добывал свой хлеб в поте «сердца и мозга», были обречены, так как им для обмена веществ именно веществ-то и не хватало.

До скипетра власти дорвался тренированный кулак, продукт же умственной секреции с каждым днем падал в цене, и бог сребролюбия Маммона⁸, еще не покинувший свой пьедестал, брезгливо морщился при виде вороха замусоленных бумажек у ног своих: это оскорбляло его эстетическое чувство.

И была земля безвидна и пуста⁹, и дух коммивояжеров уже не носился над водою.

А потому масса европейских интеллектуалов оказалась в пути к чужим берегам и осела на время в пощаженных войной портовых городах, откуда они, подобно забравшемуся на дерево Мальчику-с-пальчик, пытались разглядеть вдалеке манящие огоньки жилья с надежным кровом.

В Амстердаме и Роттердаме не оставалось ни одного свободного номера в действующих отелях и что ни день открывались новые. Вавилонское разноязычие гудело в фешенебельных кварталах, и ежедневно в Гаагу прибывали до-

⁷ Ср.: Быт. 3: 19: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься».

⁸ Маммона – в древнееврейской мифологии демон богатства.

⁹ И была земля безвидна и пуста... – Быт. 3: 19.

полнительные поезда, набитые прогоревшими и прожженными политиканами и политиканшами всех национальностей, рвавшимися на трибуну мирной конференции; все они рвались сказать свое слово о том, что пора наконец запереть ворота хлева, а меж тем коровы-то дойной и слет простыл.

В первоклассных ресторанах и кофейнях сталкивались лбами над разворотами заморских газет (местные-то в отретированном экстазе все еще смаковали статус-кво), но и из них ничего не вычитывали, кроме древней мудрости: «Я знаю, что ничего не знаю, да и это – нетвердо»¹⁰.

– Ну, где же пропадает барон Пфайль? Я жду уже целый час, – причитала во мраке прокуренных катакомб кафе «Золоченый турок» пожилая дама с заостренными чертами лица, безгубым ртом и бегающими линиялыми глазами – не такой уж редкий тип женщины, утратившей половую определенность и с вечно липкими волосами. К сорока пяти годам такие особы приобретают сходство со своими злобными таксами, а в пятьдесят уже сами облаивают затравленное человечество. Свою ярость она обратила на кельнера.

– ...тительно! Этого еще не хватало! Каково даме сидеть в этой пещере среди глазающих мужланов!

– Вы говорите: барон Пфайль?... Как он выглядит? Я не знаю его, мефрау, – холодно откликнулся официант.

¹⁰ ...«Я знаю, что ничего не знаю, да и это – нетвердо» – ироническое расширение известного изречения Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю».

– ...зумеется, бритый. Лет сорока. Сорока пяти или восьми. Откуда мне знать? Я в его метрику не заглядывала. Высокий. Стройный. Остроносый. В соломенной шляпе. Шатен.

– Да он давно сидит там, за дверью, мефрау, – официант равнодушно махнул рукой в сторону открытой двери, выходящей на площадку, которая была отгорожена от улицы шпалерами с плющом и потемневшими от гари кустиками олеандров.

– Кре-веетки! Кре-веетки! – гремел раскатистый бас уличного торговца морскими дарами.

– Баа-нанчики! Баа-нанчики! – встревал визгливый бабий голос.

– Как бы не так! Это же блондин, да еще с усиками! И в цилиндре. Тьфу ты, пропасть! – Дама все больше ярилась.

– Я имею в виду его визави, мефрау. Вам отсюда не видно. Дама кинулась к выходу, коршуном налетела на обоих мужчин и осыпала градом упреков барона Пфайля, который, смущенно привстав, представил ей своего друга Фортуната Хаубериссера. Что за наказание! Она телефон оборвала, пытаясь ему дозвониться, даже домой заходила, но его, конечно, никогда нет дома! Разгневанная дама выдвинула и более серьезные обвинения:

– И это в то время, когда все как один, не покладая рук, работают, чтобы укрепить цитадель мира, помочь рекомендациями президенту Тафту¹¹ вернуть беженцев к тру-

¹¹ Тафт Уильям Ховард – президент США в 1909 – 1913 гг.

довой деятельности на родине, обуздать налогами международную проституцию, выправить моральный хребет идеологии, и чтобы все в обязательном порядке собирали консервную жесть в пользу инвалидов, – закончив эту тираду, дама почему-то распахнула свой ридикюль и снова затянула его шелковым шнуром. – А впрочем, уж лучше дома сидеть, чем водку хлестать, – добавила она, бросив негодующий взгляд на мраморную столешницу с двумя узкими рюмками, в которых всеми цветами радуги сверкал ликерный коктейль.

– Дело в том, что госпожа консульша Жермен Рюкстина страстная благодейка, – пояснил барон другу, скрывая двусмысленность своих слов за вуалью якобы неудачно выбранного немецкого выражения. – Она тот дух, что без числа творит добро¹², всему желая зл... добра же. Так, что ли, у Гёте?

«Неужели она спустит эту шутку?» – подумал Хаубериссер, робко косясь на старую фурию, но, к его изумлению, та расплылась в довольной улыбке.

– К сожалению, Пфайль прав. Толпа не читает Гёте, а только почитает. И чем больше его перевирают, тем больше мнят себя его знатоками.

– Мне кажется, мефрау, что в ваших кругах переоценивают мой тропический филантропический пыл. Запас консервной жести, столь необходимой инвалидам, у меня гораздо

¹² ...дух, что без числа творит добро... – Ср.: Мефистофель в «Фаусте» И. В. Гёте говорит о себе: «Часть вечной силы я, всегда желавшей зла, творившей лишь благое» (перев. Н. Холодковского).

до скромнее, чем можно подумать. И если я когда-либо – уверяю вас, по добросовестному заблуждению – вступлю в Клуб милосердия и меня хоть немного обдаст духом самаритянства, то и такого выправления моего морального хребта будет недостаточно, чтобы я мог подорвать финансовую базу мировой проституции, тут я придерживаюсь девиза «Nonni soit qui mal y pense»¹³. Что же касается штурвала торговли живым товаром, то я даже не знаю, как подступиться к капитанам этого промысла, поскольку не имел случая близко познакомиться с высшими чинами заграничной полиции нравов.

– Но у вас, верно, найдутся какие-нибудь ненужные вещи для сирот, этого несчастного порождения войны?

– Разве сиротам так нужны ненужные вещи?

Благонамереннейшая дама не расслышала или не захотела услышать язвительного вопроса.

– Но от чего вам не отвертеться, барон, так это от нескольких пригласительных билетов на осенний бал-маскарад. Предполагаемая выручка, которая будет подсчитана весной, значительно облегчит участь всех инвалидов. Это будет феерический праздник. Дамы – только в масках. А мужчины, купившие более пяти билетов, станут кавалерами ордена милосердия герцогини Лузиньянской.

– Не могу не признать, подобные балы имеют несомнен-

¹³ «Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает» (фр.). «*Да будет стыдно...*» – девиз английского ордена Подвязки.

ную прелесть, — задумчиво произнес барон, —

тем более, что в вихре благотворительной пляски и в упоении непосредственной любовью к ближнему левая рука уж точно не знает, что делает правая. А богач, понятное дело, надолго запасется приятным ощущением, что бедняк на полгода обеспечен радостью ожидания живых денег, но, с другой стороны, не такой уж я эксгибиционист, чтобы носить в петлице доказательство пяти подвигов сострадания. Но если, конечно, госпожа консулыша настаивает...

— Так я отложу для вас пять билетов!

— Если позволите, только четыре, меффрау!

— Ваша милость! Господин барон! — послышался чей-то шепот, и грязная ручонка робко тронула Пфайля за рукав. Обернувшись, он увидел бедно одетую девчушку с маленьким исхудалым лицом и бескровными губами. Она незаметно проскользнула позади олеандров, выпорхнула из кустов у самого столика и теперь протягивала Пфайлю какое-то письмо. Он тут же полез в карман за мелочью.

— Дедушка просил вам сказать...

— Кто ты, детка? — вполголоса спросил Пфайль.

— Дедушка, ну, сапожник Клинкербогк, он там, на улице, просил сказать, я его внучка, — смущенно пролепетала девочка, смешав ответ на вопрос со словами, которые ей поручили передать. — А господин барон ошибся. Вместо десяти гульденов за последнюю пару туфель было уплачено тысяча.

Пфайль густо покраснел, постучал по столу серебряным портсигаром, чтобы заглушить последнюю фразу, и громко, с нарочитой грубостью сказал:

– Вот тебе двадцать центов за труды!

И, уже более мягким тоном добавив, что никакой ошибки нет, посоветовал ей идти домой да не потерять по дороге конверт.

Словно в подтверждение слов девочки – что она пришла не одна, а с дедом, который для верной сохранности конверта с купюрой сопровождает ее от самого дома, – раздвинулись заросли плюща на шпалере и показалось бледное как воск лицо старика. Видимо, он успел уловить конец разговора и, точно онемев от избытка чувств, едва шевеля языком и отвисшей челюстью, хрипло промычал что-то вроде благодарности.

Не удостоив вниманием всю эту сцену, поборница всеобщего благоденствия поставила в своем списке четыре галочки, буркнула предписанные этикетом слова и удалилась.

Какое-то время оба приятеля хранили молчание и, избегая смотреть друг на друга, заполняли паузу постукиванием пальцев по подлокотникам.

Хаубериссер слишком хорошо знал своего друга, тот только и ждет вопроса об этом сапожнике Клинкербогке, и уж тут Пфайль пустил бы в ход все свои турысы, лишь бы не быть заподозренным в добродетельной помощи бедному башмачнику. Поэтому Фортунат примеривался к разговору, дале-

кому от темы благотворительности и неимущего сапожника, однако надо было начать так, чтобы это не прозвучало слишком искусственно.

Казалось бы, чего проще, однако Хаубериссер никак не мог найти удачный ход.

«Чертовски трудно постичь, как возникают и формируются наши мысли, – подумал он, – считается, что они – порождение нашего мозга, хотя на самом деле вытворяют с ним что хотят, и у них еще более самостоятельное бытие, нежели у какого-нибудь живого существа».

– Послушай, Пфайль, – сказал он, оживившись. (Ему вдруг вспомнился фантастический лик, так поразивший его в салоне). – Ты много чего прочитал за свою жизнь. Вот скажи: не в Голландии ли возникла легенда о Вечном Жиде?

Пфайль настороженно посмотрел на него.

– Это что? Ассоциация с сапожником?

– Бог с тобой! При чем тут сапожник?

– По преданию, Вечный Жид был когда-то иерусалимским сапожником по имени Агасфер¹⁴. Он якобы с прокля-

¹⁴ *Вечный Жид, Агасфер* – персонаж христианской легенды позднего западно-европейского средневековья. Известен и под другими именами: Эспера-Диос («надейся на Бога»), Бутадеус («ударивший Бога»). Согласно легенде, во время крестного пути Христа отказал Спасителю в кратком отдыхе и безжалостно велел ему идти дальше. За это ему самому отказано в покое, он обречен безостановочно скитаться, дожидаясь Второго пришествия Христа, который один может снять с него зарок. В фольклорной традиции Вечный Жид выступает то как существо жуткое и опасное, то готовое прийти на помощь и доброе. В художественной литературе сюжеты, связанные с легендой об Агасфере, разрабатывали И.В.Гёте,

тиями отогнал от своего дома Христа, когда тот хотел передохнуть во время Крестного пути на Голгофу, то есть на лобное место. С тех пор этот сапожник был обречен на вечные скитания, и смерть не упокоит его до второго пришествия Христа. – (Заметив, как у Хаубериссера удивленно поднялись брови, Пфайль поспешил продолжить рассказ, чтобы как можно быстрее закончить разговор о сапожнике). – В тринадцатом веке один английский епископ утверждал, будто познакомился с евреем по имени Картафил, который, по его собственному признанию, обновляет плоть в периоды определенных фаз луны и становится на какое-то время евангелистом Иоанном, о ком Христос, как известно, сказал, что он не вкусит смерти ¹⁵. В Голландии Вечным Жидом зовут Исаака Лакедема. Именно под этим именем подразумевали Агасфера, поскольку упомянутый Исаак, увидев каменное изваяние Христа, застыл как вкопанный, беспрестанно восклицая: «Это он! Это он! Я узнал его!» В музеях Базеля и Берна демонстрируют даже башмаки, в одном – правый, в другом – левый, диковинные достижения сапожного мастерства, тачанные из кожи, метровой длины и кило эдак двадцать весом каждый, их откопали где-то на итало-швейцарской границе и в силу загадочности этой находки усмотрели какую-то связь с Вечным Жидом. Впрочем, – Пфайль закурил сигарету, – самое удивительное, что за несколько минут

К. – Ф. – Д. Шубарт, П. – Б. Шелли, В.А. Жуковский, Э. Сю, Х. – Л. Борхес и др.

¹⁵ Ср.: Ин. 21: 22 – 23.

до того, как тебе вздумалось спросить про Вечного Жида, у меня в памяти всплыл портрет – причем необычайно живо, – который я много лет назад видел в Лейдене в одной частной галерее. Это был написанный неизвестным художником портрет Агасфера. Оливково-бронзовый лик поистине ужасен, на лбу черная повязка, глаза – не радужины с белками, а, как бы это сказать, словно две бездны. Этот образ еще долго преследовал меня и во сне, и наяву.

Хаубериссер аж подскочил, но Пфайль не обратил на это внимания и продолжал свой рассказ:

– Черная повязка, как я потом где-то вычитал, на Ближнем Востоке считается своего рода метой Вечного Жида. Под ней якобы скрывается огненный крест, который своим светом выжигает мозг, когда разум достигает определенной зрелости. Ученые мужи усматривают здесь какие-то космические влияния, связанные с луной, потому-де Вечного Жида и называют Хадиром, или Зеленым, но, по-моему, это чушь. Ныне опять распространилась мания объяснять все, что остается непонятным в древней истории, действием астральных сил. Это поветрие на время вроде бы поутихло, когда один остроумный француз написал сочинение, из коего следует, что Наполеона как реального лица не было на свете, а был Аполлон, бог солнца, и двенадцать наполеоновских генералов на самом деле – двенадцать знаков зодиака.

Я думаю, в древних мистериях было сокрыто куда более страшное знание, чем теории затмений и лунных фаз, а

именно – такие вещи, которые стоило скрывать и чего сегодня уже нет смысла утаивать, поскольку глупая толпа в них и так, слава Богу, не поверит, да еще и посмеется над ними. Я имею в виду феномены, послушные тем же гармоническим законам, по которым живут звездные миры, а, стало быть, в чем-то им подобные. Как бы то ни было, ученые пока еще ловят черного кота в темной комнате, вооружившись темными очками.

Хаубериссер задумчиво молчал.

– А что ты вообще думаешь о евреях? – спросил он после долгой паузы.

– Гм... Что думаю? В массе своей – это вороны без перьев. Невероятно хитры, чернявы, горбоносы и не могут летать. Правда, иногда и в их стае появляются орлы. Тут двух мнений быть не может. Пример тому – Спиноза.

– Так ты не антисемит?

– Даже не платонический. Хотя бы уже потому, что отнюдь не питаю почтения к христианам. Евреев упрекают в том, что у них нет идеалов. У христиан идеалы есть, только фальшивые. У евреев все через край: соблюдение законов и их нарушение, набожность и безбожие, усердие и праздность. Не переусердствуют они разве что в альпинизме и гребле, поскольку для них это «*gojjim paches*» – то бишь уха гоев, да и пафос не слишком ценят. Христиане же перебирают с пафосом, зато недобирают во всем остальном. В евреях меня раздражает талмудическая ортодоксальность, в

христианах – каноническая сусальность.

– Как ты считаешь, есть у евреев особая миссия?

– Еще бы! Их миссия в том, чтобы преодолеть самих себя. Это уже всеобщий закон. Тот, кого преодолевают другие, упускает свою миссию. А кто ее упустит, будет побежден другими. Когда человек преодолевает самого себя, другие этого не замечают, но когда он одолевает других, небу жарко от залпов. Невежда называет эти «световые эффекты» прогрессом. Для идиота даже взрыв – прежде всего фейерверк... Однако прости, пора закругляться, – Пфайль взглянул на часы, – во-первых, я спешу домой, а во-вторых, я уже истратил весь порох, доказывая тебе, какой я умный. Итак, сервус¹⁶, как говорят австрийцы, имея в виду обратное. Если будет охота, приезжай поскорее ко мне в Хилверсюм ¹⁷.

Он положил на стол монету для кельнера и с улыбкой откланялся.

Хаубериссер попытался привести свои мысли в порядок. «Неужели я все еще сплю? – искренне недоумевал он. – Что это было? Может, в жизнь каждого человека вплетается такая вот броская нить странных случайностей? Или же мне одному привелось столкнуться с подобными вещами? Возможно, разрозненные звенья связываются в единую цепь, если только этому не помешает твердолобое упорство человека в осуществлении своих планов, отчего судьба распадается

¹⁶ Ваш покорный слуга, буквально «раб» (лат.).

¹⁷ Хилверсюм – город в провинции Северная Голландия.

на отдельные волокна, из которых в иных обстоятельствах могло бы возникнуть чудесное ровное полотно?...»

Следуя старой, усвоенной с младых ногтей привычке и жизненному опыту, коему он до сих пор всецело доверял, Фортунат было попытался объяснить загадку одновременно появления одного и того же образа в разных головах феноменом телепатии, однако на сей раз теория не хотела вязаться с реальностью, как и во всех случаях, когда он спешил отмахнуться от подобных заморочек и поскорее забыть о них. То, что Пфайль вспомнил о святящемся оливковой бледностью лице с черной повязкой на лбу, имело вполне вразумительное объяснение – портрет, выставленный в лейденской частной галерее. Но как быть с загадочным видением такого же зеленоватого лика с черной повязкой, которое явилось ему самому в лавке Хадира Грюна¹⁸?

«Что за притча с этим странным именем Хадир, всплывшим дважды на протяжении часа: сначала на вывеске, а затем как одно из имен легендарного Вечного Жида? Хотя, наверно, кому не случалось наблюдать подобные совпадения... Но как объяснить, что имя, которое ты раньше никогда не слышал, начинает прямо-таки преследовать тебя?»

¹⁸ *Хадир* – Хидр (Ильяс) – в мусульманской мифологии таинственное существо зеленого цвета. Хадир (буквально: «зеленый») бессмертен и спасает погибающих в пустыне. *Грюн* – в переводе с немецкого «зеленый»; в алхимии зеленый – цвет универсального растворяющего вещества, способного также оживлять мертвых; в древнеегипетской мифологии зеленый – цвет Осириса, бога произрастания и покровителя мертвых.

Или, скажем, такое странное ощущение, когда каждый очередной встречный выглядит все более похожим на твоего знакомого, которого ты не видел много лет, а тут вдруг будто он сам, а не кто-то иной появляется из-за угла, и сходство это поистине фотографическое, не объяснимое лишь игрой воображения. Тут уж поневоле призадуматься: какая в этом тайна? Может быть, у очень похожих людей сходные судьбы? Сколько раз я убеждался в этом! Значит, судьба участвует в формировании облика человека и его физическом развитии в соответствии со всемогущим законом гармонии?

Шар может только катиться, куб переворачиваться, а разве живому существу с его гораздо более сложным бытием не предуказана столь же закономерная поступь, пусть и тысячекратно усложненная? Я отдаю себе отчет в том, что астрология оказалась на редкость живучей дамой и сегодня имеет, может быть, больше приверженцев, чем когда-либо, а каждый десятый заказывает астрологу персональный гороскоп, только люди встают на явно ложный путь, полагая, что открытые взору звезды определяют путь, указанный судьбой. Тут, вероятно, надо говорить о совсем иных планетах – о тех, что вместе с кровью омывают сердце и имеют иные ритмы, нежели у небесных тел: Юпитера, Сатурна и так далее. Если бы все зависело от места, часа и минуты рождения, то как объяснить шутку природы, которую она сыграла со сросшимися сестрами-близнецами, о которых писали все газеты? Время рождения совпадает до секунды, а судьбы столь

разные: одна стала матерью, другая в девках скоротала свой век».

Тем временем некий господин в белом фланелевом костюме, в красном галстуке и панаме набекрень, сверкая шикарными перстнями и моноклем, в котором мерцал антрацитовый черноты глаз, уже давно сидел за дальним столиком, временами выглядывая из-за широкого разворота какой-то венгерской газеты. Сменив несколько столиков (якобы ему везде мешали сквозняки), он все ближе подбирался к Хаубериссеру, который был настолько погружен в размышления, что, вероятно, не замечал его.

Лишь когда незнакомец нарочито громко осведомился у кельнера об увеселительных заведениях Амстердама и прочих достопримечательностях, Хаубериссер как бы очнулся, возвращаясь к окружающей реальности, и первое же впечатление опять загнало его мысли в тот самый мрак, в котором они и зароились.

Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться: перед ним был тот самый «профессор» Циттер Арпад¹⁹ из «иллюзиона». Правда, теперь он пытался произвести впечатление заезжего путешественника, только что сошедшего с поезда в совершенно незнакомом городе.

И хотя он был уже без усов, а жирная помада на волосах сочилась по новому руслу, плутовская физиономия «пресбургского нахала» ничуть не утратила своей узнаваемости.

¹⁹ *Циттер Арпад*. – Арпад – вампир (др. – евр.).

Хаубериссер был слишком хорошо воспитан, чтобы хоть движением брови показать, что узнал этого типа. Кроме того, ему доставляло удовольствие противопоставить тонкую хитрость образованного человека грубой тактике невежды, который считает свою маскировку удавшейся лишь потому, что тот, кого требовалось одурачить, не сразу обнаружил ее и не стал заламывать руки с видом балаганного комедианта. Хаубериссер не сомневался: «профессор» шел за ним по пятам от лавки до кафе и наверняка замышлял какую-нибудь пакость на балканский лад, и все же для окончательной уверенности в том, что весь этот маскарад устроен именно для него, Фортунат сделал вид, будто собирается расплатиться и уйти. В тот же миг по лицу господина Циттера пробежали гримасы досады и растерянности. Хаубериссер в душе усмехнулся: видимо, у фирмы *Хадир Грюн* («профессор», скорее всего, ее сотрудник и компаньон) имеется богатый арсенал средств для удержания клиентов – душистые душики с челочками, порхающие пробки, старые евреи, похожие на призраков, пророчествующие черепа и бездарные шпики в белой униформе! Прелесть что такое!

– Официант! Скажите, голубчик, есть тут поблизости какой-либо банк, где можно обменять несколько тысячефунтовых английских банкнот на голландские деньги? – небрежным тоном поинтересовался «профессор», но опять-таки слишком громко. И получив отрицательный ответ, вновь скривился от досады.

– В Амстердаме просто бьеда с меленькими деньгами, – заметил он, развернувшись вполоборота к Хаубериссеру с явным призывом вступить в разговор. – Еще в отеле я столкнулся с этим неудобством.

Хаубериссер молчал.

– Зплошные неудобства.

Хаубериссер не поддавался.

– К счастью, владелец отеля знает меня как постоянного клиента с постоянным номером. Позвольте представиться. Граф Влодзимеж Цехоньски!

Хаубериссер едва заметно кивнул и пробормотал свое имя как можно неразборчивее. Однако у «графа» оказался, должно быть, очень тонкий слух, ибо он в радостном возбуждении сорвался с места, подскочил к столику Фортуната, занял свободный стул и с сияющим лицом воскликнул:

– Хаубериссер? Знаменитый конструктор торпедных аппаратов! Меня зовут граф Цехоньски. Ви не возражать?

Хаубериссер, улыбаясь, покачал головой.

– Вы ошибаетесь. Я никогда не имел дела с торпедами. «Вот идиот, – добавил он про себя. – Жаль, что он изображает польского графа, в качестве пресбургского профессора Циттера Арпада он был бы более сносен, по крайней мере такового я мог бы расспросить о его компаньоне Хадире Грюне».

– Да что ви? Жаль. Но это не важно. Уже само имя Хаубериссер разбуждает во мне... О! Такие приятные вспоми-

нения, – голос «графа» задрожал от умиления, – оно, как и имя Эжен Луи Жозеф, тесно связано с нашим семейством.

«Теперь он добивается, чтобы я спросил его, кто такой Эжен Луи Жозеф. Ну уж дудки!» – подумал Хаубериссер, молча посасывая сигарету.

– Дело в том, что Эжен Луи Жан Жозеф был моим крестным отцом. После чего уехал в Африку, где принял змерть.

«Вероятно, из угрызений совести», – заметил про себя Фортунат, отвечая репликой:

– Ах, смерть. Весьма прискорбно.

– О да! Какая жалость. Эжен Луи Жан Жозеф! Он мог бы стать император Франции.

– Кем, простите? – Хаубериссер решил, что ослышался. – Императором Франции?

– Ну конечно. – Циттер Арпад с гордостью выложил свой козырь. – Принц Эжен Луи Жан Жозеф Наполеон IV. Он погиб 1 июня 1879 года в войне с зулусами. У меня даже хранится его локон, – он вытащил золотые карманные часы величиной с добрый бифштекс (хотя и куда более безвкусные), щелкнул крышкой и указал на клочок какой-то черной щетины. – Это тоже от него. Подарок на крестины. Шедевр тонкого ремесла. Если давить вот здесь, они пробьют час, минуту и секунду и в тот же миг на обратной стороне начнет выделывать штуки влюбленная парочка. Вот этот кнопка запускает стрелку секундомера, этот – стопорит, а утопишь поглубже – узнаешь фазу луны. Видите рычажок? Повернешь

налево – прыснет мускусными духами, направо – услышишь «Марсельезу». Поистине королевский подарок. Во всем мире – только два экземпляра.

– Уже легче, – учтиво и двусмысленно заметил Хаубериссер.

Весь этот компот из неприкрытого нахальства и бессильных потуг продемонстрировать знание светских приличий весьма забавлял его.

Ободренный дружелюбной миной инженера, граф Цехоньски становился все словоохотливее, он начал расписывать свои необозримые владения в российской Польше, которые, к сожалению, пришли в запустение из-за войны (но, к счастью, не были его единственным богатством, так как благодаря близости к американским биржевым кругам несколько тысяч фунтов в месяц ему дают спекуляции на лондонской бирже), засим он перешел к скачкам, к продажным жокеям, к дюжине невест-миллиардерш, которые у него на примете, к смехотворно дешевым землям в Бразилии и на Урале, к неразведанным нефтяным месторождениям на Черном море, к эпохальным изобретениям, оказавшимся практически у него в кармане, а это ежемесячный миллионный доход; он поведал о зарытых сокровищах, владельцы которых бежали за границу или преставились, о беспроигрышной игре в рулетку. По его словам, японцы горят желанием озолотить добросовестных шпионов (надо только открыть счет в банке), а в больших городах есть подземные дома терпимости, куда

допускаются лишь посвященные; а еще его влечет Офир²⁰ – золотодарная страна царя Соломона, – что лежит, как он досконально выяснил, изучив бумаги покойного крестного отца, в Зулусии.

Этот тип был еще универсальнее своих карманных часов, куда только ни забрасывал он бесчисленные крючки – один нелепее другого, – чтобы подцепить золотую рыбку. Он напоминал близорукого взломщика, который то и дело меняет отмычки, тычась в облюбованную дверь, но так и не попадает в замочную скважину. Он подбирал десятки ключей к душе Хаубериссера, но не нашел ни одной лазейки.

Наконец «граф» притомился и смиренно спросил, не может ли Хаубериссер ввести его в какой-нибудь игорный клуб, но и тут надежды не оправдались: инженер с сожалением сообщил, что сам здесь человек приезжий.

Его собеседник понуро потягивал свой шерикобблер.

Глядя на него, Фортунат соображал: «Не будет ли самым разумным сказать этому субъекту в лоб, что его истинное занятие никакой не секрет, что он просто трюкач? Я бы даже вознаградил его, если бы он без вранья рассказал мне историю своей жизни. Должно быть, она довольно пестра. В какой только грязи не пришлось вывалиться этому человеку! Но он, конечно, ни в чем таком не признается, да еще и нахамит, пожалуй».

²⁰ *Офир* – легендарная восточная страна, откуда во времена царя Соломона привозили золото, пряности, обезьян, павлинов и др. (3 Цар. 9: 28).

Хаубериссер чувствовал нарастающее раздражение. «До чего невыносимо стало жить среди людей и вещей мира сего. Кругом горы шелухи, а отыщешь что-нибудь, похожее на орех, – береги зубы, это несъедобный камень».

– Евреи! Хасиды²¹! – презрительно вякнул аферист, указывая на вереницу оборванцев, торопливо шагавших своей дорогой. Впереди мужчины со спутанными бородами и в черных лапсердаках, за ними – женщины с детьми в заплечных узлах. Они безмолвно тянулись по улице, устремив широко раскрытые безумные глаза куда-то вдаль.

– Переселенцы. Без гроша за душой, – продолжал высказываться собеседник Фортуната. – Думают, море перед ними мощеной дорогой ляжет. Сумасшедшие! Недавно в городке Зандвоорте целой толпой на дно бы пошли, если бы их вовремя не вытащили.

– Вы не шутите?

– Что вы? Какие шутки! Разве вы не читали? Религиозное безумие теперь всюду, куда ни глянь. До сих пор этим страдала главным образом беднота, но, – злобная гримаса на лице Циттера разгладилась при мысли, что ему-то такая беда не грозит. – Но это только пока, скоро придет черед богатых. Я уверен. – Он радостно оживился, снова нащупав тему для разговора и поощренный вниманием Хаубериссера. –

²¹ *Хасиды* («благочестивые») – приверженцы одного из течений в иудаизме; хасидизм возник среди сельского населения Волыни и Подолии, главный его принцип – искать слияния с Богом не путем углубления в священные книги, а в искренней молитве и благочестии.

Не только в России, где как грибы растут всякие там Распутины, Иоанны Сергиевы²² и прочие блаженные, – весь мир охвачен безумной верой в скорое пришествие Мессии. Даже в Африке среди зулусов идет брожение, появляется, знаете ли, этакий одержимый негритос, уверяет всех и каждого, что он «черный Илия-пророк», и вытворяет свои чудеса. Я имею об этом точные сведения от Эжена Луи, – он тут же спохватился, – от одного друга, который недавно охотился там на леопардов. Кстати, я сам знаю знаменитого зулусского вождя, еще с московских времен, – по его лицу скользнула вдруг тень беспокойства. – Если бы я не видел своими глазами, никогда бы не поверил. Представьте себе: парень, ни уха ни рыла не смыслящий в трюках, умеет, не сойти мне с этого места, умеет колдовать! Да-да! Именно колдовать! Не смейтесь, дорогой Хаубериссер, я сам видел, а меня ни один циркач не проведет. – Он на минутку забылся, выйдя из роли графа Цехоньски. – Уж я-то знаю, что такое туфта, но вот как у него это получается, сам черт не разберет. Говорит, что есть у него некий фетиш, и, как только он к нему взовет, никакой огонь ему нипочем. Так оно и есть. Он раскаляет докрасна большие камни, клянусь Богом, сам проверял, и медленно по ним расхаживает, а подошвам хоть бы что.

Рассказчик пришел в такое волнение, что начал грызть

²² Григорий Распутин (1876 – 1916) – крестьянин, прославившийся как чудотворец и целитель, вошедший в доверие к семье императора Николая Второго. Убит заговорщиками. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) (1829 – 1908) – протоиерей, автор множества проповедей, бесед и поучений. Причислен к лику святых.

ногти, приговаривая:

– Ну погоди, любезный, уж я тебя раскушу!

Вздрогнув при мысли, что сболтнул лишнего, он вновь нацепил графскую маску и осушил свой бокал.

– Ваше здоровье, дорогой Хаубериссер! Ваше драгоценное. А может, сообразоволюте когда-нибудь на него посмотреть. Я имею в виду зулуса. Я слышал, он сейчас в Холландии, выступает в каком-то цирке. А сейчас не перекусить ли нам где-нибудь поблизости?...

Хаубериссер быстро поднялся. «Граф» интересовал его только как господин Циттер Аппад и ни в какой иной ипостаси

– Искренне сожалею, но я уже приглашен. Может быть, в другой раз. Адъё. Рад был познакомиться.

Ошеломленный неожиданным прощанием аферист с открытым ртом смотрел вслед Фортунату.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Подстегиваемый невероятным и необъяснимым волнением, Хаубериссер несся по улицам.

Сбавив шаг возле цирка, где выступала зулусская труппа Узибепю (Циттер Арпад мог иметь в виду только ее), он было задумался: не посмотреть ли на представление, но тут же отбросил эту мысль. Какое ему, в сущности, дело до колдовских способностей негра! Не любопытство, возбуждаемое чудесами в решетке, будоражило и гнало его по улицам. Нечто неосязаемое и безвидное висело в воздухе и въедалось в нервы – то же таинственное ядовитое дыхание, которое временами, еще до приезда в Голландию, действовало на него с такой удушающей силой, что он начинал думать о самоубийстве.

Что это за напасть и откуда она исходит на сей раз? Может быть, она передалась ему как зараза от толпы еврейских беженцев, которых он видел сегодня?

«Должно быть, тут сказывается влияние тех же непостижимых сил, что гонят по свету религиозных фанатиков, а меня изгнали из моего отечества, – подумал он, – только мотивы у нас разные».

Еще задолго до войны испытал он эту чудовищную душевную угнетенность, но тогда муку можно было на время заглушить работой или развлечениями. Сначала он видел ко-

рень зла в чемоданном настроении, в распушенности нервов, в неправильном образе жизни; позднее, когда над Европой реяло кровавое знамя войны, он задним числом истолковал свое состояние как предчувствие катастрофы. Но почему теперь, уже после войны, это чувство возросло изо дня в день, доводя почти до отчаяния? И не только его – едва ли не каждый, с кем он говорил об этом, испытывал нечто похожее.

Все они тоже тешили себя надеждой, что с окончанием войны мир воцарится и в сердце человека. Но вышло совсем иначе.

А банальная мудрость тех пустозвонов, которые на все случаи жизни заготовили нехитрое объяснение и душевные судороги человечества свели к ощущению дискомфорта, – могла ли она разрешить загадку? Увы, причина залегала глубже.

Призраки, необозримо огромные, бесформенные и все же узнаваемые по страшным следам их разрушительного натиска; призраки, витающие над зелеными столами на тайных сборищах бессердечных тщеславных старцев, пожрали миллионы человеческих жертв, а потом притворились, будто уснули. Но вот опять из бездны взметнул горгонью голову самый жуткий из фантомов, давно уже призванный к охотничьему промыслу зловонными устами гниющей и тоже призрачной культуры, и, появившись, он расхохотался в лицо человечеству, объявляя ему, что оно только тем и зани-

малось, что крутило пыточное колесо в надежде завоевать свободу для грядущих поколений и до скончания времени будет крутить вопреки всей своей науке и здравому смыслу.

В последние недели Хаубериссеру вроде бы удалось найти средство против ипохондрии. Он склонялся к мысли начать жизнь анахорета, безучастного наблюдателя в гуще города, который из мирового делового центра, где не место страстям, вдруг превратился в мировой бедлам с разгулом безумных, необузданных инстинктов.

И этот план удалось даже отчасти осуществить, но вот опять из-за ничтожного повода одолела прежняя усталость, но теперь она стала еще сильнее, удесятеренная зрелищем бессмысленной и бесцельной маяты такого множества людей.

Он будто прозрел от внезапного ужаса, увидев гримасы на мельтешивших перед ним лицах.

Это были уже не те люди, которые запечатлелись в его памяти спешившими на увеселительные представления, дабы потешиться или разогнать тоску повседневных забот! На всех лицах проступала печать некоего неисцелимого скитальческого недуга, своего рода отсыхания корней.

Простая борьба за существование не оставляет на лице таких борозд и пятен.

Он невольно вспомнил гравюры на меди, изображавшие средневековые пиры во время чумы и пляску смерти, и еще на ум приходили стаи птиц, которые в предчувствии земле-

трясения безгласно, словно обезумев от непонятного страха, кружат над землей.

Экипажи один за другим подкатывали к цирку. К его дверям в нервной спешке, словно дело шло о жизни и смерти, рвались люди: дамы, блистающие бриллиантами и утонченностью благородных черт; французские баронессы, ставшие кокотками; важные, стройные англичанки, еще недавно вхожие в приличное общество, а теперь – в компании каких-нибудь разбогатевших в одночасье биржевых жуликов с крысиными глазками и гиеными мордами; русские княгини в перманентной лихорадке от бессонных ночей и чрезмерного возбуждения – ни намека на былую аристократическую невозмутимость, все прежнее достоинство смыто волной духовной катастрофы.

Предвестием наступающих последних времен из недр цирка раздавались то угрожающе близко и громко, то глухо, словно задушенные толстыми брезентовыми тентами, раскаты хриплого рева диких зверей и ударял в нос едкий запах звериного дыхания, парфюмерии, сырого мяса и конского пота.

По контрасту с увеселительной программой в памяти возникла картина, которую он однажды видел в бродячем зверинце: медведь, прикованный к решетке за левую лапу. Воплощение беспредельного отчаяния, он переступал с одной ноги на другую, и так беспрестанно, изо дня в день, из месяца в месяц. Спустя годы Хаубериссер вновь увидел его на

какой-то ярмарке.

«Почему же ты тогда не выкупил его!» – настигла его мысль, которую он прогонял, наверное, сотню раз, но она продолжала преследовать его все с той же обжигающей ясностью самоупрека в тот миг, который выбирала сама, – несколько не потускневшая и такая же беспощадная, как в первый раз, когда появилась, пусть даже была карликом, ничтожной невеличкой в сравнении с огромными промахами и потерями, оставляющими свои рубцы на человеческой жизни, и все же она оставалась единственной мыслью, неподвластной времени.

«Призраки неисчислимых множеств убитых и замученных тварей насылают на нас проклятия и взывают об отмщении! – От этой мысли сжалось на миг сердце Фортуната. – Горе нам, людям, если на Страшном суде душа хотя бы одной лошади будет нашим обвинителем. Почему я тогда не выкупил его!» Сколько раз он казнил себя этими горчайшими упреками и всякий раз заглушал их неизменным доводом: от освобождения медведя было бы не больше толку, чем от сдвига одной песчинки в пустыне. Но, с другой стороны, – он окинул мысленным взором всю свою жизнь – разве сделал он на своем веку что-то более значительное? Он корпел над книгами и света солнечного не видел, трудясь над созданием машин, он строил машины, давно превратившиеся в ржавый хлам, и потому упустил возможность помочь другим людям, чтобы хотя бы они нагляделись на солнце. Он лишь

внес свою лепту в великую бессмыслицу и тщету.

Хаубериссер с трудом выбрался из напиравшей сзади толпы, кликнул извозчика и велел ехать прочь из города.

Им вдруг овладела щемящая тоска по упущенным летним дням.

Дрожки с мучительной медлительностью громыхали по мостовой, а солнце уже клонилось к закату. Не терпелось поскорее оказаться на вольном просторе, и от этого он становился еще раздражительнее.

Когда же взору открылась наконец уходящая вдаль равнина с заплатами сочной зелени меж коричневатых геометрически правильных каналов, когда он увидел островки, испещренные бесчисленными стадами коров, укрытых попонами для защиты от вечерней прохлады, а там и сям – голландских крестьянок в белых чепчиках, с выбивающимися латунно-желтыми завитками волос и ослепительно чистыми подоюниками в руках – все это показалось ему картинкой на круглом боку голубоватого мыльного пузыря, а крылатые ветряные мельницы предстали черными крестами – первыми знаками грядущей вечной ночи.

Это было чем-то вроде галлюцинации, приснившейся страны, куда ему не следовало бы направлять свои стопы, так думалось ему, когда он ехал по узким дорожкам вдоль пастбищ, на всем пути отделенный от них алеющей в закатных лучах полоской воды.

Запах воды и сырых лугов лишь растворил его тревогу в

чувстве тоски и неприкаянности.

Позднее, когда зелень померкла и над землей за клубился серебристый туман, а стада будто исчезли в дыму, у Фортуната возникло такое чувство, словно его голова – это тюрьма на плечах, а сам он ее узник, который через слепнущие оконца глаз всматривается в мир свободы, прощаясь с ним навсегда.

Город тонул в глубоком сумраке, сырой воздух дрожал от перезвона колоколов, грянувшего с бесчисленных причудливых башен, когда потянулись дома предместья. Он отпустил экипаж и пошел в сторону дома, где жил, шагая по многоколенным переулкам, вдоль городских каналов с чернеющими неуклюжими барками, сквозь смрад гниющих яблок и размокших отбросов, мимо фасадов под щипцовыми крышами со свисающими канатами лебедек, мимо их отражений в воде.

У входных дверей на стульях, вынесенных на улицу, сидели рядком мужчины, в синих широких штанах и красных блузах, тут же за починкой сетей чесали языки женщины, а по дороге носились ватаги детей.

Он ускорял шаг вблизи дверных проемов, откуда несло запахом рыбы, пота утомленных работой тел и убогого быта, спешил выйти на какую-нибудь площадь, хотя и на площадях чадили пригорелым жиром ларьки вафельщиков, и этот чад также втягивали в себя узкие переулки.

И на него тягостным грузом наваливалась вся безотрадная обыденщина голландского портового города с чисто вымытыми тротуарами и неописуемо грязными каналами, с молчаливыми обывателями, с беловатым переплетом маленьких раздвижных окон на узкогрудых фасадах, с тесными лавчками, торгующими сырами и рыбой, запах которой не могла заглушить вонь керосина среди островерхих домов, покрытых почерневшей черепицей.

И его вдруг потянуло немедленно уехать из унылого Амстердама и вернуться в более веселые города, где он бывал и жил. Тамошнее бытие снова обрело для него свою чарующую силу – как, впрочем, всему бывшему свойственно казаться нам прекраснее и лучше настоящего, – но последние, крайне неприятные переживания, ожившие в нем, впечатления внешнего и внутреннего распада и неудержимого увядания тут же подавили ненароком проснувшуюся ностальгию.

Чтобы сократить путь, он прошел по чугунному мосту, ведущему в один из респектабельных кварталов, и пересек залитую светом, оживленную улицу с роскошными витринами, но стоило сделать еще несколько шагов – и город мгновенно изменил свой лик, Фортунат вновь оказался в непроглядной тьме какого-то переулка. Старая амстердамская Нес, печально известная улица проституток и сутенеров, которую смели несколько лет назад, вынырнула из небытия здесь, подобно мерзкой застарелой болезни, появившись в другой части города почти с тем же старым ликом, пусть и не таким грубым,

но тем более ужасающим.

Все, кого извергли из своего лона Париж, Лондон, бельгийские и русские города, все, кто сломя голову первым же поездом покидал родину из страха перед революционной заварухой, собирались здесь, в этих «благородных» заведениях.

Проходя мимо них, Хаубериссер мог видеть, как автоматоподобные швейцары в долгополых синих сюртуках и треуголках, с жезлами, увенчанными медными набалдашниками, распахивают и закрывают двери, и всякий раз на тротуар падал сноп ослепительного света, и на секунду-другую из глубины помещения как из преисподней вырывался дикий хрип негритянского Джаза, гром цимбал или истерический захлеб цыганских скрипок.

А наверху, в комнатах второго и третьего этажей придерживались другого стиля жизни – там за красными гардинами творилось нечто негромкое, шепотливое, скрытное, как кошка в засаде. Кто-то изредка быстро пробарабанит пальцами по оконному стеклу, кто-то кого-то окликнет приглушенным голосом, торопливо и отрывисто, или послышится тихая речь на всех языках мира и все же очень прозрачная по смыслу; мелькнет чей-то торс в белой ночной рубашке, голова отрезана тьмой, но видны взмахи рук, и опять черный как деготь провал распахнутого окна и кладбищенская тишина, будто за этими стенами обитает смерть.

Угловой дом, которым заканчивалась улица, производил

не столь зловещее впечатление, судя по наклепленным на стенах афишкам, – нечто среднее между ресторанчиком и кафешантаном.

Хаубериссер вошел.

Перед ним был зал, полный публики, с круглыми, накрытыми желтыми скатертями столиками, за которыми ели и пили.

У задней стены – эстрада, где полукругом расположилась на стульях дюжина шансонеток и комиков, они сидели и ждали, когда придет их черед выступать.

Пожилой мужчина с шарообразным брюшком и шкиперской бородкой посверкивал выпученными накладными глазами, невероятно тонкие ножки в лягушачьего цвета трико заканчивались перепончатыми ластами, он шевелил ими, сидя рядом с французской куплетисткой в наряде парижской модницы и ведя с ней беседу о каких-то, по-видимому, очень важных вещах. Публика тем временем с непонимающим видом внимала ломаной немецкой речи одетого польским евреем комика в лапсердаке и высоких сапогах. Он держал в руке шприц, каковые продаются в аптеках для страдающих ушными заболеваниями, и гундосил свою песенку, выделявая после каждого куплета какой-то затейливый перепляс и размахивая своим орудием:

Всех прийму, кто занемох,
дома с трох до четырех.

Мой престиж давно возник.
Я – известный доктор Втык.

Хаубериссер огляделся в поисках свободного места, зал был битком набит – в большинстве своем, видимо, горожанами среднего достатка. Лишь у столика в центре зала зазывно пустовали два стула. Там сидели три относительно молодых женщины в теле и одна старая дама со строгим взглядом, орлиным носом и в роговых очках, все они усердно занимались вязанием чулок, на столешнице возвышался облаченный в нарядный чехол кофейник, и этот маленький круг производил здесь впечатление островка домашнего покоя.

Приветливый кивок каждой из четырех дам означал разрешение занять свободное место.

Поначалу Хаубериссер решил, что перед ним мать со своими овдовевшими дочерьми, но, приглядевшись, усомнился в их родстве. По внешнему виду три дамы, которых он принял за дочерей, были, несмотря на явное индивидуальное различие, голландками – белокуры, тучноваты и с королевой грацией; а вот седовласая матрона, несомненно, была уроженкой южных стран.

Официант, загадочно склабясь, подал ему бифштекс. Сидевшие за соседними столиками заухмылялись, выразительно поглядывая на Фортуната и зашушукались. Что бы все это значило? Неужели... Нет, какое там, он сидел за одним столом с образцовым мещанством. Да и почтенный возраст

дам был порукой их добропорядочности.

Тут на эстраде появился жилистый рыжебородый тип в цилиндре, обвитом звездно-полосатым флагом, в облегающих брюках сине-белой полосы; на жилетке в желтую и зеленую клетку болтался будильник, а из кармана торчала задущенная утка. Он подошел к своему коллеге – той самой бородатой лягушке – и под резкие звуки янки-дудль²³ раскроил ему череп. Вслед за этим чета роттердамских старьевщиков «met Piano Begeleidingen»²⁴ затянула старинную заунывную песню про погребенную улицу – Зандстраат:

Оставайся, Рыжий, в море,
Коль не хочешь стать седым.
Ждет тебя большое горе –
Твой шалман исчез как дым.
Девочек – метлой поганой.
Вонь – духами из канистр.
Не узнаешь ты низинку,
Здесь засядет бургомистр.

Растроганная, как при исполнении какого-нибудь протестантского хорала, публика (глаза трех голландских толстух даже увлажнились), дружно мыча, подхватила:

²³ *Янки-дудль* – популярная американская песня, появившаяся в США в начале XVIII в.

²⁴ В сопровождении фортепьяно (гол.).

Красят старые халупы,
Умывают всю Зандстраат,
А домишки, что получше,
Забирает магистрат.
Ни у Нильсена танцулек,
Ни у Чарли нумеров.
А твоей красотке, Рыжий,
Светит монастырский кров.

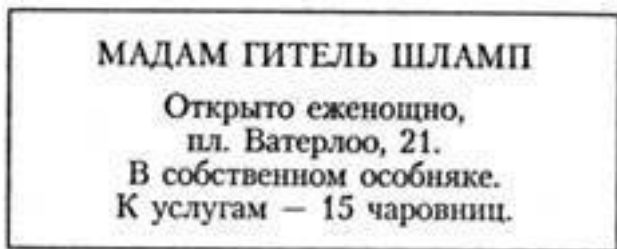
Засим начался калейдоскопически пестрый ералаш номеров, на эстраде резво сменяли друг друга курчавые как пудели английские Babygirls, поражавшие своей агрессивной невинностью; французские апаши с красными косынками на шеях; сирийские гурии, исполнявшие танец живота так, что было видно, как пляшет каждая кишка; имитаторы колокольного звона; баварские частушечники с их мелодичным рыганием.

От всей этой чепухи исходила почти наркотически успокоительная сила, как будто ассорти нелепостей может таить в себе те странные чары, которыми обладают детские игрушки, – зачастую они служат более действенным лекарством для надорванного жизнью сердца, чем самое высокое искусство.

Хаубериссер впал в какое-то забытье, он утратил ощущение времени, и, когда представление завершилось апофеозом и вся балаганная труппа с развернутыми флагами всех стран и народов, что, вероятно, символизировало счастливое

водворение мира, покидала сцену под предводительством танцующего кекуок²⁵ негра, который пропел, как водится, слова утешения для «Сьюзи Анны из Луизианы», только тут Фортунат опомнился, удивившись тому, что не заметил исчезновения большей части зрителей: зал был почти пуст.

Все четыре соседки по столу тоже незаметно удалились, оставив вместо себя нежный знак внимания: он увидел в своем бокале розовую визитную карточку с целующимися губками и надписью:



Значит, все-таки!...

– Не угодно ли приобрести билетик на дальнейшее представление? – тихо поинтересовался официант, проворно заменив желтую скатерть белой камчатной, на которой тут же появился букет тюльпанов и серебряные приборы.

Зверски взвыл вентилятор, изгоняя из помещения пле-

²⁵ *Кекуок* – популярный в начале XX в. модернизированный танец североамериканских негров.

бейский дух.

Лакеи в ливреях прыскали вокруг духами. Бархатная ковровая дорожка прокатилась красным языком по всему полу до самой эстрады, откуда ни возьмись появились мягкие кресла серой кожи.

С улицы донесся шум подъезжающих экипажей и авто.

Дамы в изысканных вечерних туалетах и господа во фраках стали заполнять зал – то же самое интернациональное, с виду прямо-таки великосветское общество, которое толпилось, едва не затоптав Хаубериссера, у входа в цирк.

В считанные минуты все места были заняты. Тихое пошвыкивание лорнетных цепочек, смех вполголоса, шуршание шелка, аромат дамских перчаток и тубероз, сверкающие там и сям жемчужные ожерелья и бриллиантовые брызги, шипение шампанского, хруст льдинок в серебряных ведерках, яростное тьякканье комнатной собачонки, белые, чуть тронутые пудрой женские плечи, пена кружев, приторно-сладкий запах кавказских сигарет – зал преобразился до неузнаваемости.

Хаубериссер вновь оказался за одним столом с четырьмя дамами и опять перед ним сидела матрона, на сей раз с золотым лорнетом, и три довольно молодых, одна другой красивее. Они оказались русскими, у них были тонкие нервные руки, светлые волосы и темные немигающие глаза, не избегавшие взглядов мужчин и, однако, как бы не замечавшие их.

Проходивший мимо стола англичанин во фраке, поз-

волявшем с первого взгляда узнать руку первоклассного портного, на минутку задержался и обменялся с дамами несколькими фразами; изящное, аристократическое, смертельно усталое лицо; пустой левый рукав вяло свисал вдоль туловища, отчего вся высокая сухопарая фигура джентльмена выглядела еще более узкой; один глаз казался больше – из-за монокля, который словно врос в глубокую глазницу.

Фортунат находился среди людей, которых инстинктивно ненавидят мещане всех стран, как кривоногая шавка ненавидит холеного породистого пса, это были человеческие особи, всегда являющие собой загадку для массы, те, к кому толпа питает чувства презрения и зависти одновременно; это были существа, способные, глазом не моргнув, вступить в кровавое побоище и при всем этом падать в обморок при звуке вилки, царапнувшей по фарфору. Поймав на себе косой взгляд, они хватаются за пистолет и невозмутимо улыбаются, будучи уличенными в карточном шулерстве; они что ни день предаются новому пороку, при одном упоминании коего «добропорядочный бургер» трижды перекрестится; для них предпочтительнее три дня промучиться жаждой, чем пригубить стакан, из которого уже кто-то пил; они веруют в доброго Бога как в нечто само собой разумеющееся, но отворачиваются от него, так как он им, видите ли, неинтересен. Их считают пустышками дубовые головы, которым представляется блеском и лоском то, что, передаваясь от поколения к поколению, стало истинной сущностью этих людей, не пу-

стых и не набитых, просто это существа, уже утратившие душу и потому заслужившие отвращение толпы, которая и во все никогда не имела души; таковы уж эти аристократы, они могут безошибочно учуять босяка под любым обличем, в их систематике он стоит ниже всякой твари, и они же непостижимым образом обретают гибкость, склоняясь перед ним, если по воле случая он окажется на троне. Сильные мира сего, они могут быть беспомощнее ребенка, стоит только судьбе нахмурить чело... Орудия дьявола и его же мишени...

Невидимый оркестр доиграл свадебный марш из «Лоэн-грин».

Пронзительный звонок.

Зал замер.

На стене над эстрадой вспыхнула составленная из крошечных лампочек надпись:

La Force d'Imagination!²⁶

И из-за занавеса вышел похожий на французского парикмахера господин в смокинге и белых перчатках – редкая поросль на голове, бородка клинышком, желтые обвислые щеки, красная розетка в петлице и синие подглазья. Он поклонился публике и сел в кресло посреди эстрады.

Хаубериссер было подумал, что придется выслушать какой-нибудь более или менее двусмысленный монолог, которыми обычно потчуют в кабаре, и досадливо отвел взгляд, как вдруг исполнитель – то ли от смущения, то ли умышляя

²⁶ Сила воображения! (фр.)

вульгарную шутку, начал расстегивать кое-какие предметы своего туалета.

Прошла минута, а в зале и на эстраде все еще царила торжественная тишина.

Затем в оркестре вполголоса запели две скрипки, и, словно из глубокой дали, донеслись томные звуки валторны: «Храни тебя Господь, то было слишком дивно, храни тебя Господь, тому не должно быть...»²⁷

Изумленный Хаубериссер взял театральный бинокль, направил его на эстраду и чуть не выронил от ужаса. Что это? Уж не тронулся ли он умом? Лоб покрылся холодной испариной. С головой и впрямь что-то неладно! Ведь не может же въяве твориться то, что он видел на подиуме, здесь, на глазах у сотен дам и господ, которые еще несколько месяцев назад принадлежали самому рафинированному обществу.

Такое еще вообразимо в каком-нибудь портовом кабаке или в учебной аудитории при демонстрации патологического эксцесса, но здесь?!

Или все это сон? А может, произошло чудо, и стрелка истории прыгнула вспять, вернувшись к эпохе Людовика XV?

...

Исполнитель плотно прикрыл ладонями глаза, так, будто, мобилизуя всю силу фантазии, пытался представить се-

²⁷ ...«Храни тебя Господь, то было...» – строки из стихотворения Иозефа Виктора фон Шеффеля (1826 – 1866) «Прощание молодого Вернера». Эти стихи использованы в либретто оперы Виктора Несслера «Трубач из Зекингена» (1884 г.).

бе нечто с предельной живостью... и через несколько минут поднялся с кресла. Затем поспешно раскланялся и исчез.

Хаубериссер бросил взгляд на дам за своим столиком и оглядел тех, кто сидел поблизости. Лица не выражали никаких эмоций.

Только у одной русской княгини хватило непосредственности похлопать в ладоши.

И вновь привычно журчит веселая болтовня, будто никогда и не прерывалась.

Хаубериссеру стало казаться, что он попал в сонмище призраков, он ощупал пальцами скатерть и вдохнул пропитанный мускусом аромат цветов: ощущение ирреальности переходило в ледяющий ужас.

Вновь раздался звонок, и зал погрузился в темноту.

Фортунат воспользовался случаем и вышел.

Шагая по улице, он почти устыдился своей чувствительности.

А что, собственно, произошло, и чему тут можно ужасаться? Да ничего особенного, он столкнулся с тем, что несколько не страшнее вещей подобного рода, которые время от времени повторяются в человеческой истории, – сбрасывание маски, для того и существующей, чтобы прикрывать сознательное или бессознательное лицемерие, вялокровие, выдаваемое за добродетель, или мерзости, выношенные фантазией монахов-аскетов!... Болезненная фантазмагория, разросшаяся до таких пределов, что стала храмом, затмившим

само небо, в течение столетий морочила умы, притворяясь культурой, а теперь вот рухнула и обнажила всю гниль, скопившуюся внутри. Так чем же прорыв гнойника страшнее и пакостнее, чем его постоянный рост? Только дети да идиоты, которым неизвестно, что яркие краски осени суть цвета увядания, скулят, когда вместо ожидаемой весны приходит мертвенный ноябрь.

Однако как ни старался Хаубериссер восстановить равновесие, призывая холодный рассудок заглушить заполошный крик чувств, ужас не отступал перед доводами разума, он упрямо не сходил с места, камнем лежал на пути, ибо сокровенное бытие ума – это тяжесть, а ее не выдавишь никакими словами.

И лишь постепенно, будто стараниями некоего вразумляющего голоса, который терпеливо и членораздельно нашептывал ему в ухо свои истины, до него наконец дошло, что этот ужас есть не что иное, как все тот же смутный гнетущий страх перед чем-то неопределенным, который мучил его уже давно, когда, как при вспышке озарения, ему открывалась бешеная гонка человечества, несущегося навстречу своей гибели.

От самого факта, что сегодняшней публике кажется обыкновенным спектаклем то уродство, что еще вчера было просто невыносимо, у него перехватывало дыхание, и мерно шагающее время понеслось во мрак духовной ночи, перейдя на «бешеный галоп» и «трусливо шархнувшись, как от вырос-

шего на дороге призрака».

Фортунат почувствовал, что вот-вот соскользнет в ту жуткую пропасть, в которой вещи мира сего растворяются в ма-реве миражей тем быстрее, чем ярче они проявляются здесь.

Он свернул в одну из узких поперечных улочек, тянувшихся справа и слева от кабаре, и двинулся вдоль стеклянной галереи, показавшейся ему подозрительно знакомой. Завернув за угол, он оказался вдруг перед жестяными ставнями лавки Хадира Грюна. Заведение, которое он только что покинул, находилось в тыльной части странного башнеподобного здания с плоской крышей, того самого дома на Йоденбреестраат, что привлекло его внимание вчера. Он скользнул взглядом по фасаду с двумя черными глазницами – и вновь ошеломляющее впечатление нереальности: в ночном мраке все здание приобрело сходство с гигантским человеческим черепом, вонзившим в тротуар свои верхние зубы.

Как-то само собой пришло на ум сравнение всей чехарды, творившейся в этом каменном черепе, с кашей в обычной человеческой голове, и, подумав о том, что за угрюмым лбом, быть может, дремлют такие загадки, которые не снились Амстердаму даже в кошмарных снах, Фортунат ощутил, как от этих предположений его грудь стеснило предчувствие опасных, подстерегающих за первым поворотом судьбы событий. А мог ли зеленоватый лик в «салоне» быть всего лишь сном? – усомнился он.

И тут вдруг неподвижная фигура старого еврея у контор-

ки обрела в его памяти все признаки бесплотного образа в обманном зеркале миража, и уж присниться могла скорее она, нежели бронзовый лик.

А в самом деле, касался ли старик пола своими ногами? Чем усерднее старался Фортунат восстановить в памяти его образ, тем больше сомневался в реальном существовании этого типа.

И его вдруг осенило: выдвижной ящик-то он видел сквозь лапсердак.

Внезапное недоверие к механизму чувств и, казалось бы, безоговорочно признанной вещественности окружающего мира молнией озарило его сознание и стало как бы ключом к разгадке подобных непознанных явлений, он вспомнил то, что слышал еще ребенком: свету некоторых, невообразимо далеких звезд Млечного Пути требуется семьдесят тысяч лет, чтобы достичь Земли, а стало быть, имей мы даже такие телескопы, которые вплотную приблизили бы к нам небесные тела, мы сможем наблюдать на них, вот как сейчас, лишь события, канувшие в прошлое семьдесят тысяч лет назад. Следовательно, в бесконечности мирового пространства всякое когда-либо зародившееся явление – просто мороз по коже! – остается вечным образом, сохраняемым природой света. «И не следует ли отсюда, – заключил он, – что существует возможность (пусть даже это не в человеческой власти) возвращать прошлое?»

И фигура старого еврея у конторки, словно обнаруживая

какую-то связь с этим законом сверхъестественного возвращения, предстала вдруг перед Фортунатом в ужасающе ином жизненном измерении.

Он почувствовал, как совсем близко, почти рядом бродит фантом, недоступный обычному зрению и все же куда более здешний и реальный, чем мерцающая в бесконечной дали звезда Млечного Пути, которую мог видеть кто угодно, наблюдать еженощно, хотя она погасла семьдесят тысяч лет назад...

Фортунат подошел к своему жилищу – средневековому домишку в два окна, глядевших в крохотный палисадник, и открыл тяжелую дубовую дверь.

Невозможно было отделаться от ощущения, что кто-то идет рядом, и он невольно огляделся, прежде чем переступить порог. Он поднялся по узкой – не шире его плеч – лесенке, которая, как во всех голландских домах, не уступала крутизной пожарной стремянке, и вошел в свою спальню.

Комната была тоже узка и вытянута, потолок обшит деревянными панелями, на полу хватало места лишь для стола и четырех стульев, вся прочая мебель – шкафы, комоды, умывальник и даже кровать – встроена в обитые желтым шелком стены.

Он принял ванну и лег спать.

Гася свет, он взглянул на стол и увидел на нем зеленый куб какой-то коробки. «Ах да, Дельфийский оракул из папье-маше, посылка из иллюзиона», – сообразил он, уже по-

грузаясь в сон.

Спустя какое-то время он проснулся почти в испуге: ему послышался странный шум, как будто по полу постукивали палочками.

В комнате кто-то был!

Но ведь он запер дверь! Он хорошо помнит.

Фортунат начал осторожно ощупывать стену, где должен был торчать выключатель, и тут его руки что-то коснулось, как будто по ней тихонько ударили легкой дощечкой. В тот же миг в нише стены что-то хлопнуло, и по лицу Фортуната скользнул, падая, какой-то легкий предмет. Свет включенной лампочки заставил его зажмуриться. Вновь послышался деревянный стук. Он доносился оттуда, где стояла зеленая коробка.

«Сработал механизм в дурацком клееном черепе, только и всего», – отворчался Хаубериссер и взял в руки предмет, который скатился по его лицу и упал на грудь.

Это был стянутый тесьмой бумажный свиток, испещренный какими-то мелкими выцветшими знаками, насколько он мог разглядеть своими сонными глазами.

Фортунат смахнул его с постели, выключил свет и опять уснул. «Должно быть, свалился с какой-нибудь полки, или я сам в темноте дошарился до того, что сорвал его с полки», – такова была последняя ясная мысль в его дремлющей голове, а затем мысли стали сгущаться в некий сумбурный поток фантазий и наконец возник диковинный образ, в кото-

ром причудливо смешались впечатления дня: перед ним стоял зулус, увенчанный петушиным гребнем из красной шерстяной тряпки, вместо стоп – лягушачьи перепончатые лапы, в руке – визитная карточка графа Цехоньски, а дом-череп на Йоденбреестраат, осклабясь, подмигивал то одним, то другим глазом.

Далекий тревожный гудок парохода в гавани был последним отзвуком реального мира, сопровождавшим Хаубериссера, когда он уже летел в бездну глубокого сна.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Барон Пфайль в надежде успеть на поезд, отправлявшийся в Хилверсюм, где находился его загородный дом, был уже на пути к Центральному вокзалу и, лавируя между многочисленными ларьками и палатками, благополучно выбрался из вечерней ярмарочной толчеи; ему оставалось лишь перейти Портовый мост, когда, словно по взмаху дирижерской палочки, дружно и оглушительно грянул звон сотен колоколов, а это означало, что пробил шестой час и барону уже не попасть на поезд.

Не долго думая, он решительно повернул назад, в Старый город.

Опоздание нисколько не расстроило его, напротив, принесло даже некоторое облегчение, поскольку теперь у него было несколько часов, чтобы решить одно дело, которое не выходило у него из головы после того, как он расстался с Хаубериссером.

Выйдя к Хееренхрахту и углубившись в сумрачную вязовую аллею, тянувшуюся вдоль этого канала, он остановился перед великолепным барочным зданием, красноватая кладка которого была прослоена ровными белыми линиями. Он бросил взгляд на огромное верхнее окно и нажал на бронзовую ручку двери, служившую одновременно и звонком.

Прошла целая вечность, покуда дверь не открыл старый

ливрейный лакей в белых чулках и лиловых шелковых бриджах.

– Господин доктор Сефарди у себя?... Вы еще не забыли меня, Ян? – Барон полез в карман за визиткой. – Отнесите это наверх и спросите, любезный...

– Они уже ожидают вас, менейр. Милости прошу.

Старик двинулся вперед по устланной индийскими коврами лестнице, стены по обе стороны украшены китайским шитьем. Лестница была так крута, что приходилось хвататься за витые латунные перила, чтобы удержать равновесие. Воздух хранил мягкий пьянящий аромат сандалового дерева.

– Ожидает? Меня? С чего бы это? – спросил барон в полном недоумении, так как уже несколько лет не видел доктора Сефарди; идея посетить его пришла Пфайлю полчаса назад, когда он решил уточнить кое-что касательно портрета Вечного Жида с оливково-зеленым лицом. Дело в том, что некоторые его детали в памяти как-то не вязались друг с другом и даже странным образом расходились с тем, что он рассказывал в кафе Хаубериссеру.

– Они телеграфировали вам сегодня в Гаагу и просили вас нанести визит, менейр.

– В Гаагу? Я уже давно вернулся в Хилверсюм. А здесь оказался совершенно случайно.

– Сейчас же доложу о вас, менейр.

Барон сел и огляделся. Все до мелочей здесь оставалось

в неизменном виде, точно таким, как во время последнего визита Пфайля: тяжелые резные стулья, укрытые накидками из блестящего самаркандского шелка, два зачехленных южно-нидерландских кресла возле роскошного камина, украшенного колоннами и зелеными нефритовыми изразцами с золотой инкрустацией, немеркнущие краски исфаганских ковров на черно-белых шашечках пола, молочно-розовые статуэтки японских принцесс в нишах стен, обшитых деревянными панелями, пристенный стол с черной мраморной плитой, со всех сторон глядят портреты кисти Рембрандта и других мастеров, изобразивших предков Исмаэля Сефарди²⁸ – именитых португальских евреев-эмигрантов, для которых в XVII веке построил этот дом знаменитый Хендрик де Кейзер, здесь они жили и умирали.

Пфайль отметил про себя портретное сходство этих людей давно минувших эпох с доктором Исмаэлем Сефарди. Они были так же узколицы, смотрели теми же большими темными миндалинами глаз, те же тонкие губы и заостренные, с легкой горбинкой носы. Ярко выраженный тип еврея, испанского изгнанника с отчужденным, презрительно-надменным взглядом, неестественно узкими ступнями и белыми руками – тип, который не имел почти ничего общего, кроме религии, со своими соплеменниками, ведущими родословную от сына Иафетова Гомера – так называемыми аш-

²⁸ Сефарды – евреи, изгнанные из Испании и Португалии (Сефарад – еврейское название Испании).

кенази²⁹.

На лицах отразилось непреклонное нежелание подлаживаться к нраву своей эпохи.

Спустя минуту навстречу Пфайлю вышел доктор Сефарди и представил его светловолосой даме, писаной красавице лет двадцати шести.

– Вы что, действительно телеграфировали мне, дорогой доктор? – спросил Пфайль, – Ян сказал мне...

– У барона Пфайля такие чуткие нервы, – с улыбкой пояснил доктор молодой даме, – стоит только загадать желание, как он моментально исполнит его. Он откликнулся, даже не получив моей депеши... Юфрау³⁰ ван Дрейсен – дочь покойного друга моего отца. Она приехала из Антверпена, чтобы спросить моего совета касательно одного дела, в котором только вы можете разобраться. Так или иначе это связано с картиной, о которой вы мне как-то рассказывали. Вы, помнится, говорили, что видели ее в Лейдене, я имею в виду портрет Агасфера.

– И ради этого вы отправили мне телеграмму? – удивился барон.

– Да, не далее как вчера мы были в Лейдене, куда прибыли с единственной целью – взглянуть на портрет, но нам сказали, что в собрании ничего подобного никогда не было.

²⁹ *Ашкенази* – евреи, живущие в Центральной и Восточной Европе.

³⁰ *Юфрау* – принятая в Голландии форма обращения и упоминания, употребляемая в отношении незамужней женщины.

Директор, господин Холверда, коего я хорошо знаю, уверяет, что в музее вообще не хранится никаких картин, только египетские древности и...

– Позвольте мне объяснить господину барону, отчего я так заинтересовалась этим предметом, – нетерпеливо вмешалась в разговор молодая дама. – Не хотелось бы утомлять подробностями истории нашего семейства, поэтому скажу кратко: в жизнь моего покойного отца, которого я любила бесконечно, вторгся один человек или – как ни странно это звучит – некий призрак, возымевший такое влияние на ум моего батюшки, что он, бывало, месяцами не мог думать ни о чем и ни о ком другом. Я тогда была еще очень юной и, может, слишком экзальтированной, чтобы понять внутреннюю жизнь моего отца (матушки уже давно не было в живых). Но теперь впечатления тех дней вдруг ожили во мне и предстали в ином свете, меня не оставляет мучительно тревожное желание добраться до сути вещей, которые давно следовало бы осмыслить... Вы наверняка подумаете, что перед вами эксцентричная особа, но я должна сказать, что готова хоть сегодня свести счеты с жизнью. Наверное, самый пресыщенный сибарит еще не подходил к последней черте так близко...

Она вдруг совершенно смешалась, и, лишь заметив, насколько серьезно обдумывает Пфайль то, что услышал, и вникает в ее состояние, она собралась и продолжила рассказ:

– Вы можете спросить, какая тут связь с портретом или «призраком»? На сей счет не могу сказать ничего определен-

ного. Знаю одно: мой отец часто говорил, когда я задавала ему свои детские вопросы о религии или всемилостивом Боге... говорил, что скоро настанет время, когда человечество утратит последние устои и вихрь истомленного духа сметет все, что было создано человеческими руками.

Уцелеют лишь те – я в точности помню его слова, – кто сумеет узреть в себе медно-зеленый лик предтечи, прачеловечка, которого не коснется тление. И всякий раз, когда я, сгорая от любопытства, осаждала его вопросами, как выглядит тот, о ком он говорил, кто это: живой человек, или призрак, или сам Бог, и как я смогу его узнать, если, к примеру, встречу по дороге в школу, он всякий раз отвечал: успокойся, дитя мое, и не ломай себе голову. Это не призрак, и, если он даже когда-нибудь явится тебе в качестве такового, не бойся его – он единственный человек на земле, не ставший призраком. У него на лбу – черная повязка, под нею – сокрытый знак вечной жизни, ведь на том, кто носит знак жизни открыто, а не в сокровенной глубине, лежит каинова печать, и в каких бы сияющих одеждах он ни явился, знай: это призрак и добыча призраков. Что же касается твоего вопроса о Боге, тут я ничего не могу сказать, да ты все равно не поймешь. А встретить ты его можешь повсюду, особенно когда меньше всего ожидаешь. Только до этого нужно еще дозреть. Даже святой Губерт, повстречав на охоте оленя и уже изготовив к бою свой арбалет...

Много лет спустя, – немного помолчав продолжила юффрау

ван Дрейсен, – когда началась эта страшная война и христианство покрыло себя таким позором...

– Не христианство, простите, а христианский мир! Это далеко не одно и то же, – с улыбкой перебил ее барон.

– Разумеется. Это я и имела в виду. Я еще подумала, что отец обладал пророческим даром и предвидел кровавую бойню...

– Он наверняка имел в виду не войну, – спокойно заметил Сефарди. – Внешние события, будь то даже столь ужасная война, есть некий шумовой эффект вроде безобидного грома для всех тех, кто не видел молнии и кого она не ошарашила ударом хотя бы в двух шагах от собственных ног. Это даже как-то утешает: «Меня, слава Богу, обошло стороной». Война разделила человечество на две части: одни заглянули в преисподнюю и всю жизнь молча носят кошмар в своей груди, для других его чернота лишь обозначена типографской краской, к последним отношусь и я. Я достаточно покопался в себе и с ужасом обнаружил то, о чем имею смелость прямо сказать: страдания миллионов не оставили на мне ни малейшей царапины. К чему кривить душой? Если кто-то может утверждать обратное и говорить от чистого сердца, я готов почтительно снять перед ним шляпу, но поверить не могу. Мне просто невозможно представить себе, что я в тысячу раз порочнее ему подобных... Однако извините, сударыня, я перебил вас.

«Удивительная прямота. Этак вот, без оглядки на чужое

мнение, выворачивать наизнанку душу», – подумал барон Пфайль, и с явной симпатией скользнул взглядом по смуглому и гордому лицу ученого собеседника.

– В общем, я думала, что отец имел в виду войну, – возобновила свой рассказ молодая дама, – но мало-помалу стала ощущать то, что теперь чувствует всякий, если он не дубовый чурбан: из глубин земли исходит какая-то парализующая духота – но не смерть, – и эту духоту, эту невозможность ни жить, ни умереть, мне кажется, и подразумевал мой отец, говоря об утрате последних устоев.

Когда же я рассказала доктору о зеленом лике прачеловка, как выражался мой отец, и спросила у него как специалиста в этой области разъяснений на сей счет, допытываясь, есть ли тут доля истины или же все дело в болезненном воображении отца, он вспомнил, что слышал от вас, барон, об одном портрете...

– ...Которого, к сожалению, не существует, – продолжил за нее Пфайль. – Я рассказывал доктору об этом портрете, все верно. Более того, еще по дороге сюда я был твердо убежден в том, что несколько лет назад видел портрет, как мне кажется, в Лейдене. Это я готов утверждать.

Теперь же могу утверждать только одно: я не видел его никогда в жизни, ни в Лейдене, ни где-то еще. Сегодня я говорил о нем со своим другом, и портрет, заключенный в раму и висящий на стене музея, отчетливо рисовался в моей памяти. Потом, поспешая на вокзал, чтобы ехать домой,

я вдруг осознал, что рама оправляла портрет лишь в моем воображении, была неким иллюзорным аксессуаром. Я тут же решил повернуть к Хееренхрахту и повидаться с доктором, дабы уяснить для себя, действительно ли тогда, несколько лет назад, я рассказывал ему о портрете или же и тут со мной сыграла шутку собственная фантазия. Для меня остается неразрешимой загадкой, как этот портрет мог запасть мне в голову. Было время, когда он буквально преследовал меня даже во сне. Уж не приснилось ли мне, будто я смотрю на него в зале лейденского музея, а затем воспоминания об этом сне стали мниться реальным событием?

А теперь я и вовсе сбит с толку: когда вы, сударыня, рассказывали о своем отце, мне опять представился этот лик, но на сей раз с поразительной, осязаемой ясностью, он был живым, подвижным, он шевелил губами, будто хотел что-то сказать, это был уже не мертвый образ на холсте...

Он внезапно умолк и, казалось, вслушиваясь в самого себя, ловил внутренним слухом то, что шептал ему портрет.

Сефарди и дама смущенно молчали.

С набережной донеслись звучные переливы большой шарманки, какие обыкновенно по вечерам возят по амстердамским улицам на тележках, влекомых медлительными пони.

– Могу лишь предположить, – возобновил беседу Сефарди, – что в вашем случае есть основания говорить о так называемом гипноидном, промежуточном между сном и явью, состоянии. Вероятно, то, что вы когда-то пережили во сне,

потом без участия сознания вкралось под видом портрета в дневную жизнь и, так сказать, срослось с явью... Ничего страшного, не надо усматривать здесь какое-то отклонение от нормы, – успокоил он, заметив, что Пфайль выставил вперед ладони, будто хотел от чего-то защититься. – Подобные вещи случаются гораздо чаще, чем принято думать. Если бы докопаться до их истока... Тогда, я убежден, с наших глаз пала бы завеса и мы вступили бы в поток второй жизни, которую в теперешней ситуации можем вести только в глубоком сне, не осознавая этого, поскольку она протекает за пределами нашего физического существования и забывается на мостике, перекинутом между ночью и днем... То, что христианские мистики пишут о «втором рождении» или «духовном обновлении», без чего невозможно узреть «Царствие Небесное», представляется мне ни чем иным, как пробуждением спящего мертвым сном «я», пробуждением в мире, не зависимом от внешних чувств, одним словом – в «раю»...

Он достал из шкафа какую-то книгу и указал на одну из иллюстраций:

– Вот вам и смысл сказки о Спящей красавице, иначе я не могу истолковать эту старинную алхимическую иллюстрацию «второго рождения»: нагой человек, встающий из гроба, а рядом череп с горящей свечой на темени... Кстати, если уж речь зашла о христианских экстатиках, юфрау ван Дрейсен и я идем сегодня вечером на собрание, можно сказать, их последователей. Это будет происходить на Зейдейк. Любопыт-

но, что и там является призраком оливково-зеленого цвета.

– На Зейдейк? – удивленно воскликнул Пфайль. – Помилуйте, это же квартал притонов! Над вами кто-то подшутил?

– Там уже не так скверно, как раньше. Я слышал, из всех значных мест сохранился только матросский кабачок «У принца Оранского», а вообще там живут безобидные бедные мастеровые.

– И еще старый чудак со своей сестрой, сумасшедший коллекционер бабочек, некто Сваммердам³¹, который на досуге воображает себя царем Соломоном. Он пригласил нас в гости, – с явной радостью вспомнила молодая дама, – мою тетушку, юфрау Буриньон, оттуда силой не вытянешь... Ну что вы скажете теперь? Хороши у меня связи?... И во избежание недоразумений должна сказать, что она – почтенная дворянка, живет теперь при монастыре бегинок³² и славится безмерным благочестием.

– Что я слышу? Ян Сваммердам еще жив? – Пфайль чуть не расхохотался. – Ему, должно быть, лет девяносто. Он еще не стер своих каучуковых подошв в два пальца толщиной?

– Вы его знаете? А что это, собственно, за человек? – спросила приятно удивленная ван Дрейсен. – Он и в самом

³¹ *Сваммердам Ян* (1637 – 1680) – нидерландский натуралист, основоположник научной микроскопии, энтомолог и анатом. Реальный Ян Сваммердам жил задолго до описываемых событий, так же как и Ян Сваммердам – персонаж повести Э. – Т. – А. Гофмана «Повелитель блох».

³² *Бегинки* – члены женского полумонашеского ордена Святого Духа, существующего с XII в.

деле пророк, как утверждает тетушка? Прошу вас, расскажите о нем.

– С удовольствием, если вам угодно позабавиться, юфрау. Правда, мне придется быть кратким и как бы заранее попроситься с вами, иначе я опоздаю на следующий поезд. На всякий случай мое вам адьё. Но не ждите ничего ужасного и таинственного, история скорее комична.

– Тем лучше.

– Так вот, со Сваммердамом я познакомился еще в четырнадцать лет. Потом, естественно, потерял его из виду. Я был весьма своевольным сорванцом и с одержимостью увлекался всем на свете, кроме учебы, разумеется. Одно время моей стихией были террариумы и энтомология. Стоило только в зоомагазине появиться лягушке-быку или азиатской жабе величиной с дорожный баульчик, как они уже переходили в мои руки, а затем – в большой стеклянный ящик, в котором поддерживалась соответствующая температура.

По ночам из нашего дома доносилось такое кваканье, что в соседних домах захлопывались окна. А сколько насекомых требовалось этим прожорливым тварям! Я таскал им козявок мешками.

Тем, что у нас так мало мух, Голландия обязана моим заботам о пропитании амфибий.

Что касается, например, тараканов, то это зло искоренил я.

Сами же лягушки оставались для меня невидимками,

днем они спали под камнями, а ночью должен был спать я под неусыпным родительским оком.

В конце концов, моя мать стала допекать меня советами отпустить всю живность на волю и оставить только камешки – все равно только их-де и видно, а забот поубавится, но я, естественно, отвергал эти предложения с негодованием.

Мое усердие в ловле насекомых принесло мне чуть ли не всеобщую известность в нашем городе и вызвало благосклонный интерес со стороны Энтомологического общества. Оно тогда состояло из кривоногого цирюльника, торговца мехами, трех отставных машинистов с железной дороги и препаратора из Естественно-научного музея, последний, однако, не принимал участия в наших вылазках с сачками и банками, так как не имел на то разрешения супруги. Все эти энтузиасты были дряхлыми стариками, кто собирал жуков, кто бабочек, но все свято чтили шелковое знамя с красиво вышитыми словами: «Осирис, Ферейн биологических изысканий».

Несмотря на мое малолетство, я был зачислен в члены. До сих пор у меня хранится диплом, текст которого завершается фразой: «Примите наш сердечный биологический привет».

Почему меня чуть не за уши втянули в Общество, выяснилось довольно скоро. Биологические старцы страдали либо слабым зрением, что лишало возможности разглядеть ночного мотылька, схоронившегося в древесной коре, либо варикозным расширением вен, весьма осложнявшим охо-

ту за жуками, которые нередко избирают местом обитания зыбучие дюны. Иные в самые решающие моменты, когда кисейная сеть готова накрыть высокоманевренную бабочку, прозываемую «павлиний глаз», раздражались надрывным кашлем, что оставляло нас без вожденной добычи.

У меня же не было ни одного из перечисленных недостатков. Мне ничего не стоило за километр углядеть гусеницу, слившуюся с зеленым листом. И неудивительно, что ушлые старики додумались использовать меня и моего школьного приятеля в качестве ищеек и гончих псов.

Лишь один из них, а именно Ян Сваммердам, которому было в ту пору никак не меньше шестидесяти пяти, превосходил меня в искусстве разведки и отлова насекомых. Где подковырнет камень, там и личинка жука или иная энтомологическая прелесть.

Он стал чуть ли не знаменитостью. Поговаривали, что у него открылся дар ясновидения в этой области как следствие безупречного образа жизни... Вы знаете, как ценят в Голландии добродетели!

Я никогда не видел его облаченным иначе, нежели в черный сюртук с округлым горбом на спине, так как под жилеткой меж лопатками он носил свой сачок, зеленый черенок которого спрятать целиком, однако, не удавалось.

А о том, почему он ходит без воротничка, обвязав шею скрученной полоской географической карты, я узнал, заглянув однажды в его каморку под самой крышей. Он указал

мне на свой шкаф с бельем, который ни в коем случае нельзя открывать. – Ниросампа Milhauseri, – благоговейно произнес он название редкой гусеницы, окуклившейся у самого шарнира дверцы, – и даст Бог, года через три из кокона вылезет бабочка.

Отправляясь в свои короткие экспедиции, мы всегда садились на поезд, только Сваммердам туда и обратно проделывал путь пешком, поскольку был настолько беден, что не мог позволить себе транспортных расходов, а чтобы не стирать подошвы, он наносил на них слой какого-то мудреного каучукового раствора, который через некоторое время застывал до состояния пористой корки толщиной с кирпич. Как сейчас их вижу...

Он зарабатывал на жизнь продажей диковинных гибридов, которые ему иногда удавалось выводить при скрещивании разных видов бабочек, но доход был слишком незначителен, и уберечь собственную жену он не сумел: его верная половина, с умилением благословлявшая его причуды и терпеливо сносившая нищету, умерла от истощения. С тех пор материальная сторона жизни совсем перестала интересовать Свам-мердама, и он жил только своей мечтой – отыскать какого-то особенного навозного жука, о коем науке известно, что он неукоснительно блюдет верхнюю границу своего обитания, а именно: пребывает в недрах на глубине ровно тридцать семь сантиметров и только там, где земля густо усыпана овечьим пометом.

Мы с моим школьным приятелем всеми силами оспаривали это бредовое утверждение, более того, в наших дерзких юных умах созрел поистине коварный замысел, которому мы время от времени следовали: припася сумку с овечьим «изюмом», мы разбрасывали его на самых твердых участках проселочных дорог и, как индейцы на удачной охоте, ликовали, когда Сваммердам, наткнувшись на заветное месторождение, превращался в бешеного крота и готов был зарыться в землю.

В одно прекрасное утро произошло поистине чудо, потрясшее нас до глубины души.

Мы участвовали в очередной вылазке. Впереди шаркало старичье, распевая дребезжащими голосами песню нашего «Общества», своего рода гимн «*Eurgeria pudica*» (латинское название очень красивой бабочки):

Ты неси, ветерок,
Мне мою малявочку
На научный шесток –
На мою булавочку...

А шествие замыкал длинный и сухой как жердь, в своем неизменном черном облачении, с отточенной лопатой наголо, Ян Сваммердам. Милое старческое лицо излучало свет прямо-таки библейского преображения, а когда чудака спросили, почему у него такой сияющий вид, он торжественным шепотом пояснил, что видел ночью вещий сон.

Мы не преминули незаметно бросить на землю по горсти помета.

Увидев его, Сваммердам встал как вкопанный, стянув с головы панамку, сделал глубокий вздох и, проникнутый надеждой и верой, возвел глаза к небу, взирая на солнце до тех пор, пока его зрачки не сузились до размеров булавочной головки. Потом он приник к земле и начал копать с такой резвостью, что каменистая почва забила фонтаном.

Мы с товарищем стояли поодаль, и в наших сердцах ликовал Сатана.

И вдруг Сваммердам покрылся восковой бледностью, зажал дрожащей ладонью рот, выронив лопатку, и уставился в выкопанную яму.

В следующую секунду он трепетными пальцами извлек из глубины сверкающего зеленым панцирем навозного жучка³³.

От волнения старик не мог вымолвить ни слова, лишь две крупные слезы скатились по его щекам. Наконец он тихим голосом поведал: «Нынче ночью явилась мне покойница жена, лик аж светился, как у святой. Она утешила меня и сказала: „Ян, ты найдешь своего жука“».

Мы, двое юных шалопаев, молча отвалили в сторонку и весь день не могли от стыда взглянуть в лицо друг другу.

³³ Зеленый жук – скарабей, или навозник. В Древнем Египте почитался как олицетворение бога восходящего солнца Хепри, созидательной силы, скрытой в материи. Скарабей вышел из ноздрей погребенного Осириса и потому служил символом бессмертия, скарабей, катящий навозный шарик, понимался как образ божественной силы, движущей по небу солнце.

Позднее приятель признался мне, что давно испытывает благоговейный страх перед собственной рукой, которая в тот самый миг, когда он хотел сыграть со стариком злую шутку, стала, быть может, десницей святого угодника.

Уже в сумерках доктор Сефарди и юфрау ван Дрейсен подходили к Зейдейк – утопающей во тьме улочке – кривой щели городского «дна», у стыка двух каналов, поблизости от угрюмой церкви св. Николая. Над островерхими кровлями соседней улицы, где было в самом разгаре летнее ярмарочное гулянье, разливалось красноватое зарево от празднично освещенных балаганов и павильончиков, а воздух густел, насыщаясь городскими испарениями, и в лучах полной луны превращался в подобие сказочно мерцающего тумана, в котором проступали резкие контуры церковных башен, словно мачты выплывающих из тьмы кораблей.

Карусели стучали своими моторами, и это было похоже на биение огромного сердца.

Безостановочное мурлыканье многочисленных шарманок, барабанная дробь, зычные голоса зазывал, щелчки, доносившиеся из тиров, – от всего этого дрожал воздух даже на окрестных улицах, а в воображении рисовалось мерцающее в свете факелов людское море, напиравшее на дощатые будки с пряниками, разноцветными сладостями и вырезанными из кокоса бородатыми харями людоедов. Легко было представить себе, как несутся по кругу пестро размалеванные кару-

сельные лошадки, взлетают к небу качели, кивают удачливым стрелкам пораженные мишени в виде чернокожих голов с белыми гипсовыми трубками, как толпится народ возле неструганых столов с воткнутыми ножами, на которые набрасывают кольцо за кольцом, а рядом – лоснящиеся жиром тюлени в деревянных чанах с грязной водой, шатры с развевающимися вымпелами и кривыми зеркалами на брезентовых стенках, за которыми гримасничают обезьяны и картово голосят какаду, вцепившись лапами в серебряные обручи; и все это на мрачном фоне десятка узких домов, вставших плечом к плечу, точно молчаливая дружина великанов с горящими четырехугольными глазами в крестиках оконных переплетов.

В одном из подобных домов, куда, однако, едва доносился шум народного гулянья, на пятом этаже находилась квартира Яна Сваммердама. Подвал этого дома, выделявшегося некоторым наклоном вперед, занимал матросский кабачок «У принца Оранского». Запах травяной лекарственной трухи, исходивший из аптечного магазина рядом с подъездом, окутывал весь дом, а вывеска с надписью: «Hier verkoopt man sterke drenken»³⁴ свидетельствовала еще и о том, что стараниями некоего Лазаря Айдоттера в округе не иссякнет источник горячительной влаги. По узкой крутой лесенке доктор и его спутница поднялись наверх и тут же были встречены по-

³⁴ Продажа крепких напитков (гол.).

жилой дамой с белоснежными буклями и круглыми детскими глазами – тетушка юффрау ван Дрейсен с сердечной любезностью приветствовала гостей: «Милости прошу, Ева! Добро пожаловать, царь Бальтазар, в Новый Иерусалим!» При виде вошедших шесть человек, в торжественном молчании сидевших вокруг стола, смущенно привстали.

– Позвольте вам представить: Ян Сваммердам и его сестра, – сказала юффрау Буриньон, указывая на сухонькую старушку в голландском чепчике и с закрученными локонами на висках, которая то и дело приседала и кланялась. – А вот господин Лазарь Айidotтер. Он хоть и не принадлежит к нашему духовному кружку, вполне может быть сочтен Симоном Крестonosцем («Я тоже житель сего дома», – с гордостью добавил престарелый русский еврей в лапсердаке); далее – юффрау Мари Фаатц из Армии спасения, духовное имя Магдалина, и наш возлюбленный Иезекииль, – она указала на молодого человека с оплывшим, изрытым оспинами лицом, напоминавшим ком забродившего теста, на котором странно было видеть воспаленные глаза, начисто лишённые ресниц. – Он служит внизу, в аптеке, и носит духовное имя Иезекииль, ибо в назначенный срок будет призван судить род человеческий.

Доктор Сефарди бросил недоумевающий взгляд на юффрау ван Дрейсен.

Заметив это, ее тетка пояснила:

– У нас у всех здесь есть духовные имена. Ян Сваммердам,

к примеру, царь Соломон, его сестра – Суламифь, а я Габриэла – это женская ипостась архангела Гавриила, но обыкновенно меня называют Хранительницей порога, ибо мой долг – собирать рассеянные по всему свету души и возвращать их в райские кущи. Со временем вам, доктор, все будет гораздо понятнее, ведь вы один из нас, хотя сами этого не знаете. Ваше духовное имя – царь Бальтазар, волхв с востока. Вам еще ни разу не приходилось испытывать крестных мук?

Сефарди был совсем сбит с толку.

– Сестра Габриэла, пожалуй, чересчур напориста, – с улыбкой вмешался в разговор Ян Сваммердам. – Видите ли, в чем дело, много лет назад здесь произошло воскрешение истинного пророка Господня. Это простой сапожник, некто Ансельм Клинкервогк. Вы сегодня познакомитесь с ним. Он живет над нами. Мы отнюдь не спириты, как вы, возможно, подумали. Скорее, совсем наоборот, ведь мы не имеем никакого отношения к царству мертвых. Наша цель – жизнь вечная... Всякое имя обладает потаенной силой, и, беспрерывно произнося имя не устами, а в сердце своем, покуда оно не будет днем и ночью пронизывать все наше существо, мы насытим духовной силой кровь, которая в своем токе по жилам обновит и нашу плоть. Дух сам по себе изначально совершенен, он проявляется во всякого рода ощущениях – предвестниках того состояния, которое мы называем «духовным рождением». Одно из таких ощущений – сверлящая неумолимая боль, она временами мучит вас и по непонятным причинам

отступает, сначала терзает плоть, затем переходит на кости и охватывает всего человека, покуда как знак «первого крещения» – а это крещение водой – не наступит час распятия нижней ступени, когда на ладонях непостижимым образом открываются раны и из них изливается вода, – при этих словах все сидевшие за столом, кроме Лазаря Айidotтера, подняли руки, показывая глубокие, округлые рубцы, какие могли оставить пронзившие их гвозди.

– Но ведь это же истерия! – в ужасе воскликнула юфраван Дрейсен.

– Можете называть и так, милая барышня. Но *та* истерия, коей подвержены мы, не имеет болезненной природы. Истерия истерии рознь. К болезни может быть приравнена лишь такая истерия, которая ведет вниз и сопровождается экстазом и умопомрачением. Совсем *иное* дело – умопросветление, обретение ясности, это – путь ввысь, ведущий человека поверх мыслительных операций к знанию, достигаемому непосредственным созерцанием истины.

В Писании эта высокая цель называется Сокровенным Словом, и, подобно тому как современный человек мыслит, сам того не сознавая, посредством слов, нашептываемых самому себе, людям, пережившим духовное возрождение, дан иной, тайный язык, слова которого не допускают приблизительных и ошибочных суждений. Это уже новая ступень мысли, это магия, а не убогое уразумение, это путь к истине, в свете коей невозможно заблуждение, ибо волшебные коль-

да мысли становятся единой цепью, это уже не груда разрозненных звеньев.

– И вам это уже по плечу, господин Сваммердам?

– Если бы так, я бы пребывал не здесь, милостивая государыня.

– Вы сказали, что обычный человек мыслит в форме неслышно произносимых слов, а как же быть тем, – полюбопытствовал Сефарди, – кто глух от рождения и не знает слов?

– Такой человек мыслит отчасти в образах, отчасти на праязыке.

– Но я думать вот какая дело, любезный Сваммердам, – с полемическим блеском в глазах воскликнул Лазарь Айдоттер. – У вас каббала, у меня каббала. Ладно. Оно есть так. Но «В начале было Слово» – то неправильный перевод. В начале было «Bereschith», это по-нашему «голова», вам говорят, «разум», а не «в начале». Причем тут «в начале»?

– В голове... – глухо произнес Сваммердам и на несколько мгновений погрузился в глубокое раздумье. – Да, конечно, но смысл тот же.

Все прочие молчали и со значением переглядывались.

Ева ван Дрейсен поймала себя на ощущении, что при слове «голова» подумала об оливково-зеленом лице. Она вопросительно посмотрела на доктора Сефарди, который незаметно кивнул ей.

– А как ваш друг Клинкербогк сподобился пророческого дара и в чем это проявляется? – нарушил молчание доктор,

видя, что никто не решается продолжить разговор.

Этот вопрос, казалось, вырвал Сваммердама из глубокой дремоты.

– Клинкербогк?... Да-да... Он всю жизнь упорно искал Бога, изнуряя свой мозг, и от постоянного томления даже лишился сна. Однажды ночью он как всегда сидел рядом со своей линзой – знаете, такой стеклянный шар с водой, который сапожники ставят перед свечой, чтобы она ярче светила во время работы. И вдруг в мерцании этого шара проступил некий образ, приблизился к нему, и случилось то, о чем повествует Апокалипсис. Ангел дал ему книжку и сказал: «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка как мед»³⁵. Лик этого образа был сокрыт, весь, кроме лба, на котором зеленым огненным знаком был запечатлен крест.

Ева ван Дрейсен вспомнила слова отца о том, что призраки открыто носят знак жизни, и почувствовала на миг леденящий ужас.

– С тех пор Клинкербогку дано Сокровенное Слово, – вновь заговорил Сваммердам, – и оно было внятно ему, а его устами передавалось и мне: ведь я был тогда его единственным учеником. И оно научило нас, как нам должно жить, дабы вкусить от Древа жизни, произрастающего в саду Гос-

³⁵ Ср.: «И я пошел к Ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед» (Откр. 10: 9).

поднем. И, как гласило обетование, в скором времени все муки земного странствия отступят от нас, и нам, как страдальцу Иову, Бог даст «вдвое больше того», что имели прежде.

Доктор Сефарди готов был указать на то, сколь опасно питать веру подобными прорицаниями, почерпнутыми из глубины подсознания, но вовремя вспомнил рассказ барона Пфайля о зеленом жуке. К тому же он понял, что всякие предостережения здесь будут запоздалыми.

Старик как будто начал угадывать его мысли, и его слова прозвучали как ответ на них:

– Спору нет, с тех пор, как нам было дано это обетование, прошло уже полсотни лет. Однако надо хранить терпение и, что бы ни случилось, неустанно упражнять себя, дено и ношно повторяя в сердце своем духовное имя, покуда не свершится второе рождение.

Он говорил спокойно и, казалось, без тени сомнения, но в голосе слышалась легкая дрожь, словно от предощущения жесточайшего грядущего отчаяния, как ни старался он владеть собой, чтобы не поколебать в своей вере других.

– И вы упражняетесь в этом целых пятьдесят лет? Какой кошмар! – вырвалось у доктора.

– Боже, какое блаженство видеть, как сбывается обетование, – восторженно пропела юфрау Буриньон, – и сюда из горних миров слетаются великие духи, дабы окружить своим сонмом Аврама – это духовное имя Ансельма Клинкербогга, ибо он воистину праотец, – и здесь в убогом квартале

Амстердама заложить краеугольный камень нового Иерусалима. И вот пришла Мари Фаатц («Прежде она была проституткой, а теперь сестра Магдалина», – шепнула она, прикрыв рот ладонью, своей племяннице). И вот воскрешен, вырван из лап смерти Лазарь! Да-да, Ева, об этом чуде я ни слова не сказала тебе в недавнем письме с приглашением посетить наш кружок. Ты только вдумайся: Аврам пробудил Лазаря от смертельного сна!

Ян Свамердам встал, подошел к окну и молча вперил взгляд в темное пространство.

– Да, именно так! – продолжала Буриньон. – Он лежал в своей лавочке, можно сказать, бездыханный. И тут пришел Аврам и оживил его.

Все как по команде уставились на Айidotтера, тот смущенно отвел глаза и, энергично жестикулируя и пожимая плечами, шепотом пояснил доктору Сефарди, что и вправду было что-то этакое:

– Я лежал без всяких чувств, возможно, совсем мертвый. Разве не может полежать мертвым такой старик, как я, господин доктор?

– А потому заклинаю тебя, Ева, – горячо принялась убеждать юфрау Буриньон свою племянницу, – вступай в наш союз, ибо близко уже Царствие Небесное и последние станут первыми.

Приказчик аптечной лавки, до сих пор не открывавший рта и сидевший рядом с сестрой Магдалиной, не выпуская

из рук ее ладошку, неожиданно встал, шмякнул кулаком по столу и, выкатив безумно-восторженные глаза, зашелся криком:

– И-и пе-пе-рвые станут по-по-последними, и у-у-добнее вер... верблю...

– Он оглашен духом. Его устами вещает Логос! – воскликнула Хранительница порога. – Ева, сохрани каждое слово в сердце своем!

– ...люду пройти сквозь и-и-иголь...

Ян Сваммердам бросился к одержимому, лицо которого исказила звериная ярость, и начал успокаивать его магнетическими мановениями руки возле лба и губ.

– Это всего лишь «обратный ход», как у нас говорят, – попыталась старая голландка, сестра Суламифь, унять страх Евы ван Дрейсен, которая уже отскочила к двери. – С братом Иезекиилем порой такое случается, когда низшая природа на какое-то время теснит высшую. Но это бывает все реже.

Приказчик между тем уже стоял на четвереньках, лаял и рычал, а девица из Армии спасения, опустившись на колени, нежно поглаживала его по голове.

– Вы уж на него не сердитесь, – увещевала сестра Суламифь. – Все мы великие грешники, а он-то, бедняга, днем и ночью в темной лавке, и, когда ему вдруг придется увидеть людей состоятельных, – простите меня за откровенность, сударыня, – на него находит какой-то стих, ожесточение, он аж лицом темнеет. Бедность – вы уж поверьте мне, – тяжкое

время. Где же ему, его юной душе, укрепиться благодатью, чтобы нести его!

Впервые в жизни Ева ван Дрейсен заглянула в жуткие бездны бытия, и то, о чем прежде черпала представления из книг, она увидела воочию во всей убогой реальности.

И все же это была лишь мимолетная зарница, слишком слабая, чтобы распахнуть мрак бездны.

«Сколько невообразимых кошмаров, – подумала она, – должно быть, дремлет в этой глубине, куда так редко может заглянуть человек, которого пощадила судьба».

Она испытала небывалое духовное потрясение, сорвавшее покровы старательно соблюдаемых ритуалов быта, и человеческая душа предстала перед ней в отвратительной наготе, низведенной до животного состояния в тот самый момент, когда звучали слова того, кто ради любви к человеку принял смерть на Кресте.

Внезапно чувство безмерной вины, состоявшей уже в том, что она принадлежит к привилегированному классу и никогда особенно не упрекала себя в отсутствии интереса к страданиям ближнего, иными словами: грех безучастия, малый, как песчинка в своем зарождении, и подобный опустошительной лавине в своих последствиях, – все это повергло Еву в глубокий ужас, сравнимый со смертельным испугом человека, который, ничтоже сумняшеся, затеял игру с канатом и вдруг увидел, что держит в руках змею.

Когда Суламифь рассказывала о бедственном положении

приказчика, Ева инстинктивно потянулась за кошельком (этим безотчетным порывом сердце надеется провести рас-судок), но уже через минуту-другую решение помочь бедня-ге казалось ей неудачным, и вместо доброго деяния она вы-брала доброе намерение – сделать это позднее, но уж как следует.

Испытанная военная хитрость лукавого, имеющая целью затянуть время до срока, когда утихнет порыв сострадания, сработала и на сей раз.

Иезекииль тем временем оправился от припадка и лишь кротко всхлипывал.

Сефарди, который, как и все именитые португальские евреи в Голландии, неукоснительно следовал обычаю пред-ков не являться в чужой дом без подарка, воспользовался возможностью отвлечь внимание от припадочного и, развер-нув упаковку с маленьким серебряным кадиллом, протянул его Сваммердаму.

– Золото, ладан и мирра³⁶... Три царя, три волхва с Во-стока ³⁷! – прошептала Хранительница порога дрогнувшим от умиления голосом, благоговейно закатывая глаза. – Узнав вчера, что вместе с Евой к нам пожалуете вы, господин док-тор, Аврам нарек вас именем одного из них – царя Бальтаза-

³⁶ *Золото, ладан и мирра* – дары, которые новорожденному Христу принесли Бальтазар, Мельхиор и Каспар.

³⁷ *Бальтазар, Мельхиор, Каспар* – восточные волхвы (цари с Востока), согласно Евангелиям, по звезде пришедшие поклониться новорожденному Христу.

ра. И что же: вы приходите и приносите ладан! Царь Мельхиор (в миру барон Пфайль, я знаю это от маленькой Катъе) явился сегодня в своей духовной ипостаси, – она с таинственным видом повернулась к разинувшим рты братьям и сестрам, – и передал деньги. И вот я вижу духовным зраком: к нам держит путь третий из волхвов – Каспар. – Она с чувством подмигнула Мари Фаатц, ответившей ей всепонимающим взглядом. – Да, времена семимильными шагами идут к своему концу...

Ее прервал стук в дверь, и появившаяся на пороге Катъе, маленькая внучка сапожника Клинкербогка, объявила:
– Спешите наверх, у дедушки второе рождение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда все ринулись в мансарду сапожника, Еве удалось ненадолго задержать коллекционера бабочек.

– Простите, господин Сваммердам, у меня к вам только один вопрос, хотя узнать хотелось бы так много. То, что вы говорили об истерии и силе, сокрытой в имени, глубоко поразило меня... но, с другой стороны-

– Позвольте дать вам совет, милая барышня. – Сваммердам остановился, и внимательно посмотрел Еве в глаза. – Я прекрасно понимаю, что все услышанное здесь не могло не озадачить вас. Однако вам принесло бы немалую пользу, если бы вы восприняли это как первый урок и не ждали духовного руководства от других, но доверили бы его самой себе. Только поучения собственного духа даются в нужное время и находят благодатную почву. Что касается чужих откровений и прозрений, то здесь надо быть глухим и слепым. Стезя, ведущая к вечной жизни, узка, как лезвие ножа. Вы не можете ни помочь тем, кто неуверенно ступает по ней у вас на глазах, ни ждать помощи от них. Стоит лишь оглянуться на других, как сам сорвешься в пропасть. По этой тропе нельзя идти вслепую друг за другом, как водится в обычном мире, а посему тут необходим вожатый, который должен явиться из царства духа. Только в земных делах какой-либо человек может служить вам путеводителем, а его жизнь – путеводной

нитью. Все, что не от духа, есть прах земной, и мы признаем лишь того Бога, коего открываем в собственной душе.

– А если в моей душе нет Бога? – в отчаянии воскликнула Ева.

– Тогда, оставшись наедине с ней, вы должны призвать Его с такой силой мольбы, на какую только способны.

– И вы думаете, Он отзовется? Это было бы слишком просто!

– Он придет! Но – пусть вас это не пугает – сначала как суровый судия ваших прежних деяний, как грозное божество Ветхого Завета, утвердившее закон: око за око, зуб за зуб. Его знамением будут внезапные перемены в вашей внешней жизни. Поначалу вам придется утратить все, даже... – Сваммердам понизил голос, словно боясь причинить ей боль своими словами, – даже Бога, если вы хотите обрести Его вновь и вновь... И лишь очистив представление о Нем от воплощенного образа, от всякой идеи внешнего и внутреннего, творца и творения, духа и материи, вы сможете Его...

– Увидеть?

– Нет. Никогда. Но вы узрите *себя* его глазами. И будете свободны от земных уз, ибо ваша жизнь волеется в Его бытие и ваше сознание уже не будет зависеть от тела, которое, подобно призрачной тени, движется к своей могиле.

– К чему же тогда превратности внешней жизни, о которых вы говорите? Что это? Испытание или кара?

– Нет ни кар, ни испытаний. Внешняя жизнь со всеми из-

ломами судьбы – не что иное, как процесс исцеления, для кого-то более, для кого-то менее мучительный, – в зависимости от того, насколько нужен человеку весь опыт, им нажитый.

– И вы полагаете, как только я призову Бога, моя судьба изменится?

– Незамедлительно! Только это будет не изменение, а ускорение. Возьмем для примера лошадь, перешедшую с трусцы на галоп.

– И *ваша* судьба совершила такой рывок? Простите мне мой вопрос. Но судя по тому, что я слышала о вас...

– До сих пор она отличалась монотонно-мерным ходом, вы это хотите сказать? – с улыбкой добавил за нее Сваммердам. – Но я же говорил вам: не оглядывайтесь на других. Одному дано увидеть необъятный мир, другому – лишь кончик собственного носа. Если вы всерьез хотите, чтобы ваша судьба неслась вскачь, вы должны... (примите мои слова как предостережение и одновременно как совет, ибо это единственное, ради чего человеку стоит появляться на свет, и в то же время самая страшная для него жертва) вы должны призвать сокровеннейшее существо, заключенное в вас, самую вашу суть, без которой вы просто труп или того хуже, и *повелеть* Ей, чтобы Она вела вас к великой цели, верховной цели всех устремлений – пусть вам пока и не понять этого, – чтобы она несла вас неудержимо, безжалостно, не давая роздыху, через болезни, страдания, смерть и сон, точно закусив-

шая удила лошадь, не разбирая дороги, по зеленеющим нивам, мимо милых полян и цветущих роц. Вот что значит, по моему убеждению, призвать Бога! Это должно стать обетом и дойти до слуха того, кому он дается.

– Но если в тот момент, когда судьба будет готова понести меня, я не найду в себе сил, учитель, и захочу повернуть вспять?

– Повернуть вспять на духовном пути может лишь тот... нет, не повернуть даже, а остановиться, оглянуться и застыть соляным столбом... может лишь человек, не давший обета! Обет в мире духа – это как высшее повеление, и Бог в таком случае... человеку слуга, помогающий исполнить эту заповедь. Только не пугайтесь, сударыня, это – не богохульство! Напротив! То, что я вам сейчас скажу, просто глупость. Я знаю, что она совершается лишь из сострадания – заведомая глупость, но я хочу вас предостеречь: не переусердствуйте в клятвенном обещании! Иначе вам грозит то, что произошло с разбойником, которому переломали на кресте кости!

Лицо старика стало совершенно бескровным от волнения. Ева порывисто коснулась ладонью его руки.

– Благодарю вас, учитель. Теперь я знаю, что мне делать.

Старик привлек ее к себе и растроганно поцеловал в лоб.

– Да будет властелин судьбы вашим милосердным лекарем, дитя мое!

Они двинулись вверх по лестнице.

Словно пораженная какой-то внезапной мыслью, Ева на секунду замерла у двери в мансарду.

– Объясните мне еще одну вещь, учитель! Многие миллионы людей обагрили землю своей кровью и прошли через страшные муки. Но ведь они не давали обета. Ради чего же они приняли такие муки?

– Как вы можете знать, что они не дали обета? Разве не могло это произойти в прежней жизни? – спокойно спросил Сваммердам. – Или в глубоком сне, когда душа человека не спит и лучше его самого чувствует, что пойдет ей на пользу?

Словно пробив пелену мглы, Еву озарил яркий свет нового знания. Последние слова старика сказали ей о сути жизненного назначения больше, чем это могли бы объяснить все религиозные системы мира. Всякие сетования по поводу якобы несправедливой судьбы отступали перед мыслью о том, что никому не дано иного пути, кроме выбранного по собственной воле.

– Пусть вас не смущает, если все, с чем вы столкнулись у нас сегодня, юфрау, показалось вам нелепицей. Путь часто идет под уклон, и все же это лишь перепад, даже мостик к одной из высот. Лихорадка духовного выздоровления порой производит впечатление какого-то дьявольского морока. Разумеется, я не «царь Соломон», а Лазарь Айдоттер – не «Симон Крестonosец», как поспешила заключить юфрау Буриньон, когда он однажды одолжил денег Клинкербогку, но тем не менее весь этот сумбур в обращении со словом Ветхого

и Нового Завета не лишен смысла... В Библии мы видим не только описание событий отдаленных времен, но и путь от Адама к Христу, путь, который должны проделать мы сами в магической стихии внутреннего восхождения от «имени» к «имени», от одного проявления высшей силы к другому, – говорил Сваммердам, помогая Еве подняться на последние ступени, – от изгнания из рая к Воскресению. Для многих этот путь чреват страшными потрясениями... – И он одышливо пробормотал что-то опять про распятого разбойника с перебитыми костями.

Госпожа Буриньон вместе с прочими участниками ночного бдения (только Лазарь Айдоттер ушел восвояси) у входа в каморку сапожника поджидала задерживавшихся Сваммердама и Еву. И едва они подошли, как она обрушила на племянницу поток слов, дабы надлежащим образом подготовить ее:

– Ты только представь себе, Ева, свершилось нечто неопишимо грандиозное. И как раз сегодня, в праздник летнего солнцестояния, – в этом такая бездна смысла! Да... так о чем бишь я... ну конечно, сбылось великое упование: в отце Авраме родился сегодня духовный человек, принявший образ младенца. Он услышал его крик, когда прилаживал к сапогу каблук, а это, вестимо, и есть второе рождение, ибо первое означает: «в болезни рожать детей своих», как говорится в Писании, если его правильно толкуют, а за этим воспоследует появление третьего волхва, и все цари с Востока будут в

сборе. Мари недавно рассказала мне, что слышала краем уха про одного черного дикаря, объявившегося в Амстердаме, а час назад своими глазами видела его через окно нижнего кабачка. Тут-то меня и осенило: вот он, знак свыше! Кто же это может быть, как не Каспар, царь Мавританский? Я и не чаяла такой несказанной милости, подумать только, именно мне выпала миссия найти третьего царя. Я просто горю от блаженного нетерпения, жду не дождусь той минуты, когда смогу послать Мари вниз, чтобы она привела его...

С этими словами она открыла дверь и впустила в комнату сапожника всех, кто желал видеть чудо.

Клинкербогк неподвижно и прямо, точно трость проглотив, сидел во главе длинного стола, заваленного подметками и сапожным инструментом. Одна половина изможденного старческого лица была залита падающим из окна лунным светом так, что седые волосы шкиперской бороденки сверкали подобно металлическим нитям; другая же половина тонула во мраке.

Лысый череп венчала зубчатая корона, вырезанная из золотой фольги.

В каморке стоял кислый запах кож.

Зловещим глазом циклопа, чье тело скрывала тьма, над столом мерцал стеклянный шар, бросавший блики на россыпь десятигульденовых монет, которая горкой громоздилась перед пророком.

Ева, Сефарди и члены духовного сообщества в ожидании

встали вдоль стены.

Никто не смел шевельнуться, на всех точно столбняк напал.

Приказчик заворуженно смотрел на груды сверкающих монет.

В гробовой тишине время ползло улиткой, минуты казались часами. Из мрака выпорхнула моль и, мелькнув белой пылинкой над свечой, сгорела в пламени.

Неподвижно, точно каменное изваяние, пророк сидел, вперив взгляд в линзу с водой, рот был открыт, пальцы судорожно впились в груды золота. Казалось, он внимает как-ким-то словам, доносившимся из неведомой дали

В окно ворвался вдруг неясный шум трактирной перепалки, и тотчас же все опять замерло, – должно быть, внизу кто-то открыл и захлопнул дверь портового кабака.

И опять все та же гробовая тишина.

Ева хотела было взглянуть на Сваммердама, но ей помешала смутная боязнь прочесть на его лице то же предчувствие приближавшейся беды, от которого у самой перехватывало дыхание. На секунду она готова была поверить, что слышит слова, произнесенные тихим, почти беззвучным голосом: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия»³⁸. Но это впечатление было мгновенно стерто отзвуками ярмарочного гвалта, которые с порывом ветра пронес-

³⁸ Слова из евангельского моления Христа о чаше в Геф-симанском саду перед казнью.

лись мимо окна.

Она подняла глаза и увидела, что напряженная неподвижность сменилась на лице Клинкербогга тенью смятения.

– Вопль Содомский и Гоморрский, – послышалось бормотание старика, – велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет.

– Да ведь это слова Господа из Первой книги Моисея, – дрожащими устами вымолвила сестра Суламифь и перекрестилась. – До того, как Он пролил дождем на Содом и Гоморру серу и огонь... Да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять праведников?...

Эти слова подействовали на Клинкербогга как заклинание, и ему явилось видение грядущего конца света. Монотонным голосом, словно читая в трансе какие-то письмена, он заговорил, обращаясь к гостям, жавшимся к стене:

– Вижу ураган, терзающий землю, и все, что стояло прямо, будет стелиться пред гневом его. Вижу тучи стрел. И отверзаются могилы, и надгробные камни и мертвые черепа подняты ветром и, подобно граду, низвергаются на землю. Вздыблены воды рек и озер, и чудовищные уста сдувают их как пену и превращают в морозящий дождь, и павшие тополя преграждают дороги, и большие деревья, словно очески, летят на землю. И все это ради праведников, принявших живое крещение, – старик опять почти перешел на ше-

пот. – Но тот, кого вы ждете, не явится к вам царем, пока не исполнятся сроки. Сначала среди вас должен родиться предвестник, новый человек, для приуготовления царства. Однако многие из вас обретут новые глаза и новые уши, и да не будет об этих людях в который раз сказано: смотрят и не видят, слушают и не слышат, – лицо старика омрачила глубокая печаль, – но и среди них не вижу я Аврама! Ибо каждому будет отмерено его же мерою, а он, прежде чем созрел для духовного рождения, бросил щит праведной бедности, ублажая душу золотым тельцом, а чувства – игрищами. Не успеете и глазом моргнуть, как его не будет с вами... Царь Мавританский принесет ему смирену жизни нездешней и тело его швырнет в мутные воды на съедение рыбам, ибо золото Мельхиора пришло раньше срока, до того как богомладенец нашел свой приют в яслях и мог бы снять проклятие, лежащее на всяком злате. Стало быть, рожден он в не добрый час, когда еще не расступилась тьма... Да и Бальтазар запоздал со своим ладаном. А ты, Габриэла, зарекись тянуть руку к колосьям, не созревшим для жатвы, не дай Бог, серп поранит работника и оставит жнеца без пшеницы...

Юфрау Буриньон, восторженными вздохами сопровождавшая речь пророка, даже не пытаясь вникнуть в ее темный смысл, едва подавила вопль радости, когда услышала свое духовное имя Габриэла. Она что-то торопливо шепнула Мари Фаатц, которая тут же покинула комнату.

Сваммердам хотел было остановить ее, но опоздал – девушка уже резво стучала каблуками по лестнице.

И в ответ на изумленный взгляд Хранительницы порога он опустил руку и лишь покорно покачал головой.

Сапожник вдруг опамятовался и с явным беспокойством окликнул свою внучку, но тотчас же вновь впал в экстаз.

В матросском трактире «У принца Оранского» уже сколотилась разномастная компания из пяти человек, сначала развлекавшаяся игрой в карты, а позднее, с наступлением глубокой ночи, когда зал стал наполняться местным сбродом, как бочка сельдью, игроки перешли в соседнюю комнату, где в дневное время отсыпалась кельнерша Антье по прозвищу Портовая Чушка – бесформенная, размалеванная дешевой косметикой толстуха в красной шелковой юбке до колен, подрагивавшая при ходьбе белым студнем шеи, блекло-желтой косой, отвислыми грудями и трепеща воспаленными ноздрями своего пяточка. Упомянутую компанию составляли: хозяин кабака – бывший шкипер бразильского судна, перевозившего красильное дерево, приземистый крепыш с бычьей шеей, сидевший в одном жилете, на ручищах синий узор табуировки, на ушах, одно из которых было наполовину откушено, – маленькие золотые серьги; рядом – зулус Узибепу в каком-то темно-синем холщовом мундире, напоминавшем спецовку корабельного кочегара; далее – горбатый импресарио варьете с длинными и противными, как паучьи лап-

ки, пальцами; профессор Циттер Арпад, на удивление быстро отрастивший свои усы и одетый в соответствии с новой обстановкой; и пятый игрок – так называемый «индиец» – смуглый субъект в белом колониальном смокинге, один из тех плантаторских сынков, которые временами приплывают в Европу из Батавии или других нидерландских владений, чтобы увидеть родину предков и за несколько ночей самым нелепым образом спустить в притонах папашины деньги.

Уже неделю молодой человек в полном смысле жил в «Принце Оранском» и ни разу не видел дневного света, если не считать первых утренних лучей, пробивавшихся сквозь зашторенное зеленой материей окно, когда он с заплывшими от пьянства глазами, неумытый и нераздетый, валился на диван, чтобы подряхнуть до позднего вечера.

И опять все та же угарная круговерть с картами и костями, пивом, скверным вином и сивухой, когда со всех сторон напирают охотники погулять на дармовщинку – портовая шпана, чилийские матросы, бельгийские проститутки, и вот уже банк отказывается оплатить последний счет и на бочку летят цепочка от часов, перстни и запонки.

Хозяин счел себя обязанным пригласить на заключительный акт этого празднества своего приятеля Циттера Арпада. Профессор не только с безупречной пунктуальностью последовал приглашению, но и прихватил с собой в качестве своего рода взноса диковинного зулуса, у которого, как у выдающегося циркового артиста, не переводились наличные день-

ги.

Уже несколько часов господа резались в макао³⁹, но ни одному из них не удавалось снискать благосклонность фортуны, и как бы часто ни пытался профессор передернуть карту, всякий раз горбатый импресарио осаживал его ехидной ухмылкой – господину Циттеру Арпаду ничего не оставалось, как маленько повременить со своими виртуозными номерами, но делиться с горбуном мощной своего чернокожего протеже он, конечно, не намеревался.

По отношению же к «индийцу» оба соперника как бы менялись ролями, а потому им пришлось скрепя сердце первый раз в жизни поиграть честно, что, судя по мечтательно-меланхолическому флеру, осенившему лица, навеяло на обоих воспоминания о времени невинного детства, когда играли на миндаль и всякие другие лакомства.

Сам хозяин играл честно по доброй воле, так сказать, в честь праздника. С гостями хотелось обойтись по-джентльменски, но при условии взаимности: чтобы те в случае проигрыша возместили ему убыток, что разумелось само собою и не обсуждалось. «Индиец» был слишком наивен, чтобы заподозрить плутовство, а зулус – слишком несведущ в белой магии, ему и в голову бы не пришло совершить волшебство с помощью пятого туза. Где-то в полночь, когда в трактирном зале зазвенели манящие переборы банджо, все более иступленно призывая к столу молодого мецената, жаждающая

³⁹ *Макао* – азартная карточная игра.

спиртного толпа уже не смогла обуздать свое нетерпение, и наконец в комнату ввалилась стриженная, с длинной челкой на лбу, деваха, а как только она промямлила, что ищет запропастившегося «жениха», произошла внезапная перегруппировка боевых сил, в результате «индиец» и зулус были разом обчищены, а господин Циттер и горбун-импресарио в точно такой же мере обогашены.

Профессор, всегда отличавшийся неумемной щедростью, не преминул пригласить в опустевшую комнату юфрау Антье на общий ужин со своим другом Узибепю, пристрастие которого к изысканным блюдам и напитку «Могадор» – коктейлю из денатурированного спирта и нитратов – было хорошо ему известно.

Неизвестный науке язык, на котором шел разговор, можно, пожалуй, назвать английским, но в его негритянской версии и в сумбурном смешении с капским жаргоном⁴⁰ и басутским диалектом⁴¹; оба собеседника в совершенстве владели этой богатой речевой палитрой. А вот кельнерше чаще всего приходилось ограничиваться пламенными взглядами, красноречивыми жестами с участием языка и прочими подобными приемами интернационального общения, дабы разогреть интерес гостя.

Профессор, наторевший в искусстве светской болтовни,

⁴⁰ *Капский язык* – наречие, на котором говорили жители Капской области в бывших голландских владениях в Южной Африке.

⁴¹ *Басутский диалект* – наречие одного из племен басуто в Южной Африке.

умел управлять ею так, чтобы она не прерывалась ни на минуту, но при этом не упускал из виду своей главной цели – выманить у зулуса секрет его фокуса, вызнать, как тому удастся ходить босыми ногами по раскаленным камням, и он пустился на всевозможные хитрости, чтобы добиться своего.

Но даже самый проницательный наблюдатель, глядя на него, не догадался бы, что в его мозгу свербит еще одна мысль, имеющая самое непосредственное отношение к той новости, которую ему доверительно сообщила Антье: обитающий на чердаке сапожник Клинкербогк нынче после обеда спускался в трактир, чтобы обменять тысячегульденовую купюру на золото.

Под воздействием огненного «Могадора», лакомых блюд и чар, посылаемых жирной сиреной, зулус пришел вскоре в такое буйное состояние, что впору было выносить из комнаты все колющие, режущие и бьющиеся предметы, но прежде всего – его самого, дабы уберечь от столкновения с драчливыми матросами в зале, которые, исходя лютой ревностью – ведь чернокожий увел у них Антье, – готовы были кинуться на него с ножами.

Хитрая провокация профессора, заметившего мимоходом, что колдовской трюк с хождением по углям всего-навсего топорное надувательство, достигла цели – зулус совсем обезумел и завопил, что начнет крушить все, что попадет под руку, если ему сию же минуту не принесут жаровню.

Циттер Арпад только того и ждал, он велел принести дав-

но заготовленную металлическую бадью и высыпать красные уголья на цементный пол комнаты.

Узибепю тут же припал к ним раздутыми ноздрями и начал вдыхать обжигающую гарь. Его глаза постепенно стекленели.

Казалось, он видит нечто, губы беззвучно шевелились, словно он вступил в разговор с фантомом.

Потом вдруг вскочил, издал душераздирающий крик, такой страшный и пронзительный, что гвалт в зале мгновенно умолк и любопытная толпа плотным строем двинулась на дверь.

Через какую-то секунду зулус сорвал с себя одежду и совершенно нагой, упруго-мускулистый, как черная пантера, с пеной на губах, в сумасшедшем темпе склоняя и запрокидывая голову, пустился в пляс вокруг пылающих угольев.

Зрелище было настолько жутким и так будоражило нервы, что даже диковатые чилийские матросы хватались за стену, чтобы не грохнуться со скамеек, на которые они взгромоздились.

Танец резко оборвался, словно по чьей-то неслышной команде, зулус вроде бы образумился, но лицо его стало пепельно-серым. Он медленно шагнул на угли, не спеша потоптался на них босыми ногами и несколько минут простоял неподвижно.

Ни запаха, ни шипения горячей кожи. Когда он вышел из огнедышащего круга, профессор мог убедиться, что черные

подошвы не имеют никаких следов повреждений и даже несколько не нагрелись.

Девушка в черно-синем платье воительницы Армии спасения, только что вошедшая в трактир, застала последний акт представления. Она приветливо, как человеку уже знакомому, кивнула зулусу.

– А ты как здесь, Мари? – воскликнула Портовая Чушка и нежно поцеловала ее в щеки.

– Нынче вечером я через окно видела тут мистера Узибепю. Я знаю его. Однажды в кафе «Флора» я попыталась растолковать ему Писание, жаль только, он не силен в голландском, – объяснила Мари Фаатц. – Вот. А сейчас меня послала старая дама из монастырского приюта. Я должна отвести его наверх. Там еще двое важных господ.

– Куда наверх?

– Как куда? К сапожнику Клинкербогку, ясное дело.

Услышав это имя, профессор чуть не вывернул себе шею, но тут же сделал вид, что разговор за спиной ничуть его не интересует, и на ломаном африканском наречии начал пытаться зулуса, который после своего триумфа обрел способность отвечать на вопросы.

– Поздравляю моего друга и мецената, мистера Узибепю из страны Нгоме, и с гордостью убеждаюсь в том, что он великий чародей и посвящен в колдовское искусство Обеа Тханга.

– Обаа Тханга⁴²? – негодующе воскликнул негр. – Вот Обаа Тханга! – он презрительно щелкнул пальцами и показал мизинец. – Я, Узибепю, великий шаман быть. Я зеленый змея Виду быть.

Профессор мигом сопоставил два факта, позволивших сделать любопытное заключение. Кажется, он нащупал верный путь. Однажды в случайном разговоре с индийским циркачом профессор узнал, что укус некоторых змей вызывает у индивидов, способных привыкнуть к действию яда, совершенно особенные аномальные состояния, когда человек становится ясновидцем, лунатиком или заговоренным от ранений... Если такое случается в Азии, почему это невозможно среди африканских дикарей?!

– А я и на себе испытал укус большой священной змеи, – прихвастнул он, выставив на обозрение ладонь с каким-то крестообразным рубчиком.

Зулус лишь презрительно сплюнул.

– Виду не простая змея быть. Простая змея дрянной червяк быть. Виду – зеленый змея духов, лицо одинаковое как человек. Виду – змея быть суквиян. Его звать Зомби.

Циттер Арпад растерялся. Что за диковинные слова? Ничего подобного он никогда не слышал. Суквиян? Отдает чем-то французским. А что значит Зомби?! На сей раз благора-

⁴² *Обеа-Тханга* – возможно, именование как-то связано с Шанго, богом грома и молнии, а также богом охоты и грабежа в мифологии африканских племен йоруба.

зумие подвело его, он обнаружил свою неосведомленность, чем раз и навсегда уронил себя в глазах негра.

Узибепю надменно приосанился и разъяснил:

– Человек, который менять кожу, вот кто быть суквиан. Он жить вечно. Дух. Нельзя видеть. Его сила – колдовать все на свете. Отец черных людей быть Зомби. Зулусы быть его любимые дети. Они из его левого бока. – Он ударил себя кулаком в грудь, и мощная грудная клетка загудела, как далекий гром.

– Каждый вождь зулу знать тайное имя Зомби. Если надо звать, придет Зомби – большой виду-змея, лицом зеленый человек, на лбу священный знак. Если зулу первый раз Зомби видеть, а Зомби лицо закрывать, человек умирать. А если Зомби приходит открытым лицом, но прятать знак, то зулу жить и быть Виду Тханга, большой шаман и повелитель огня. Я, Узибепю, я Виду Тханга.

Циттер Арпад в досаде кусал губы. Он понял, что рецепта выудить не удалось.

От этого он с удвоенной энергией принялся навязывать себя в качестве переводчика спустившейся с чердака девушке, которая и жестами, и словами пыталась убедить зулуса следовать за ней.

– Без меня там ничегошеньки не поймут, разговора с ними не получится, – наседали профессор, но на Мари его доводы не действовали.

Зулус наконец понял, чего от него хотят, и пошел вслед

за девушкой.

Сапожник сидел на прежнем месте все в той же бумажной короне.

Маленькая Катю подбежала к нему, и он протянул было к ней руки, будто хотел прижать ребенка к груди, но тут же опустил их и все свое внимание опять сосредоточил на стеклянном шаре, вновь погружаясь в сомнамбулическое состояние.

Малышка на цыпочках отошла к стене и встала рядом с Евой и Сефарди.

Тишина, объявшая комнату, стала еще мучительнее, непроницаемее и, как казалось Еве, еще более непримиримой к чуть слышному шуршанию платья или скрипу половиц, она сгустилась в застывшее мгновение, недоступное для звуковых колебаний, уподобилась бархатному ковру, по которому растекаются яркие блики отраженного, а не проникающего света.

А снаружи, со стороны лестницы, слышались не уверенные шаги – кто-то медленно, словно ошупью приближался к двери.

У Евы было такое чувство, будто сама Смерть, крадучись, поднимается к ним прямо из могилы.

Она в ужасе вздрогнула, когда за спиной неожиданно скрипнула дверь и на пороге гигантской тенью выросла фигура негра.

На всех остальных тоже напал страх, цепенящий; ужас, и никто не смел шевельнуться, будто это действительно была Смерть, которая должна остановить взгляд на ком-то из них, чтобы сделать свой выбор.

Лицо Узибепю не выразило ни малейшего удивления при виде погруженной в мертвую тишину живой картины.

Он тоже застыл на месте и не менял поворота, головы, словно приклеился своим горящим взором к Еве, и неизвестно, как долго ей пришлось бы это терпеть, если бы на помощь не поспешила Мари и не заслонила ее собой.

Белки его глаз и сверкающие зубы, казалось, висели в темноте, подобно блуждающим огонькам.

Ева поборола страх и нашла в себе силы повернуться к окну, вдоль которого, мерцая в лунном свете, тянулась свисавшая с крыши толстая железная цепь лебедки.

За окном скорее угадывался, чем слышался, тихий плеск воды, когда налетал ночной ветерок и чуть заметные волны лизали цоколь дома у слияния двух каналов...

Внезапный крик в глубине комнаты вновь заставил всех вздрогнуть.

Клинкербогк привстал и негнуцимся пальцем указал на какую-то светящуюся точку внутри шара.

– Это опять он, – прохрипел старик. – Тот ужасный... в зеленой маске... который нарек меня Авраамом и дал съесть книгу...

И, словно ослепленный нестерпимо ярким светом, он за-

крыл глаза и тяжело опустился на стул.

Все стояли как вкопанные, не в силах вздохнуть. Только зулус наклонился вперед, глядя куда-то во тьму поверх головы Клинкербогга, и наконец произнес:

– Суквиян быть там, позади него.

Никто не понял, о чем он. И вновь мертвая тишина, воцарившаяся, казалось, на веки вечные, которую никто не осмеливался нарушить ни единым словом.

От необъяснимого волнения у Евы дрожали колени. Она не могла отделаться от ощущения, что какое-то невидимое существо с ужасающей медлительностью постепенно заполняет собой всю комнату.

Она стиснула ручку маленькой Катье.

И вдруг совсем близко и до жути громко захлопали крылья.

– Авраам! Авраам! – взывал чей-то несусветно дребезжавший голос.

У Евы мороз пробежал по коже, она видела, как и другие содрогнулись при этих звуках.

– Я здесь, – словно сквозь сон, отвечал сапожник. Она закричала бы во все горло, если бы не удушающий своей удавкой страх.

Мгновения зловещего затишья. Все стояли, как столбняком пораженные. И вдруг по комнате заметалась большая черная птица с белыми пятнами на крыльях, она ударилась

головой об оконное стекло и с шумом опустилась на пол.

– Это Якоб, наша сорока, – шепнула маленькая Катье, – уже проснулась!

Ева едва слышала ее, как будто уши были заложены. Слова девочки не успокоили ее, а, пожалуй, даже усилили гнетущее ощущение близости какого-то демонического существа.

Столь же неожиданно, как и крик птицы, тишину нарушил надрывный вопль сапожника:

– Исаак! Исаак!

Его лицо мгновенно преобразилось гримасой исступленного безумия.

– Исаак! Исаак!

– Я здесь! – ответила ему Катье, тоже будто сквозь сон, точно так же, как сам старик откликнулся на зов птицы.

Ева почувствовала, как похолодела рука малышки.

Сорока у стены под окном взхлеб что-то верещала, это было похоже на смех какого-то дьявольского кобольда.

Слог за слогом, звук за звуком заглатывала тишина своим жадным невидимым ртом эти слова и зловецкий смех.

Они возникали и глохли, как отзвук некой заварухи библейских времен, который, блуждая по свету подобно призраку, залетел в каморку бедного ремесленника...

Это наваждение на мгновение рассеял потрясший воздух звон колокола церкви св. Николая.

– Я, пожалуй, пойду. Мне здесь уже неважно, – шепнула Ева Сефарди и направилась к двери.

Ее удивило, что все это время не было слышно башенных часов, а ведь с тех пор, как пробило полночь, прошло немало времени.

– А как же мы оставим старика одного, без помощи? – спросила она Сваммердама, который молча старался выпроводить прочих гостей, поглядывая при этом на сапожника. – Он ведь все еще в трансе, да и девочка спит.

– Он проснется, как только мы уйдем, – успокоил ее Сваммердам, но и в его голосе звучала приглушенная тревога. – Позднее я приду его проведать.

Негра пришлось буквально выталкивать, он никак не мог оторвать лихорадочно горящих глаз от груды золота на столе. Ева заметила, что Сваммердам ни на секунду не выпускал зулуса из виду, и, когда они оказались на лестнице, старик проворно обернулся и запер дверь в комнату Клинкербогга, а ключ спрятал в карман.

Мари Фаатц поспешила вперед, чтобы подать гостям пальто и шляпы и кликнуть извозчика.

– О если бы царь Мавритании посетил нас вновь! Мы даже не попрощались с ним. Господи, ну почему праздник второго рождения оказался таким грустным? – причитала Буриньон, обращаясь к сопровождавшему ее угрюмо-немногословно Сваммердаму, когда они стояли перед домом в ожидании экипажа, который отвез бы ее в монастырь, Еву в отель, а доктора Сефарди домой. Но разговор не клеился.

Шум народного гулянья уже затих. Только из зашторен-

ных окон кабачка на Зейдейк пробивались звонкие переборы банджо в угаре всеобщей свистопляски.

Стена дома, обращенная к церкви св. Николая, была почти скрыта тьмой, другая же его сторона, где под самой крышей высоко над водой канала тускло светилось окно сапожника, смотревшее в туманное марево гавани, словно искрилась брызгами яркого лунного света.

Ева подошла к парапету набережной и какое-то время смотрела в зловеще-черное зеркало канала.

В нескольких метрах от нее железная цепь, свисавшая с крыши, касалась своим нижним концом узкого, не более фута шириной выступа стены.

С этой цепью внизу возился какой-то человек, стоявший в лодке. Увидев над собой светлеющее в темноте женское лицо, он быстро пригнулся и втянул голову в плечи.

Из-за угла донесся грохот приближавшегося экипажа, и Ева, зябко поеживаясь, поспешила назад, к Сефарди. На долю секунды в памяти почему-то мелькнули белки настороженных глаз нефа.

Сапожнику Клинкербогку снилось, будто он едет на осле через пустыню, рядом с ним – маленькая Катье, а впереди шагает проводник – человек с покрывалом на лице, тот самый, что нарек его Авраомом.

На третий день пути увидел он в небесах фата-моргану, и сказочно-прекрасная страна, подобной которой он никогда в

жизни не видел, сошла с неба на землю, и человек, шедший впереди, сказал, что эта земля зовется Мория⁴³.

И поднялся старик на гору, и устроил там жертвенник, и положил на дрова Катъе.

Он простер руку и взял нож, чтобы заколоть дитя. Сердце в тот миг было холодным и бесчувственным как камень, ибо Писание предсказывало ему, что вместо Катъе он предаст всеожжению овна. А когда ребенок был принесен в жертву, человек сорвал с головы покрывало, в этот миг пылающий знак на его челе пропал и слышались слова:

– Я открыл, Авраам, тебе свое лицо, дабы отныне ты обрел Жизнь Вечную⁴⁴. Но *знак* жизни я убираю с чела с тем, чтобы вид его уже никогда не испепелял твой бедный разум, ибо мой лоб – твой лоб и мой лик – твой лик теперь. Знай же, что это воистину второе рождение: ты тождествен мне, а проводник, ведший тебя к Древу Жизни, есть ты сам. Многим было дано узреть лицо мое, но не дано было увидеть в этом свое второе рождение, а потому и обрести вечную жизнь.

Смерть еще раз придет за тобой, покуда не минуешь ты узких врат, а дотоле не испытаешь огненного крещения в купели мук и отчаяния. Ты сам так хотел.

А потом душа твоя войдет в уготованное мною царство, подобно птице, взмывающей в вечную зарю...

⁴³ *Мория* – земля, в которой, по библейскому сказанию, Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. (Быт. 22: 2).

⁴⁴ Ср.: Быт. 17: 1 – 5.

Клинкербогк видел перед собой лик, словно отлитый из зеленого золота, и этот лик занимал собою все небо. И он вспомнил о тех временах, когда еще отроком, желая помочь приготовить тропы тем, кто придет вслед за ним, дал молитвенный обет – он не сделает больше ни шага на духовной стезе, если только Властелин судьбы не возложит на него бремя всего мира.

Человек с зеленым ликом исчез.

Клинкербогк стоял впотьмах и прислушивался к гулкому, но уже затихающему грохоту, пока тот вовсе не замер, будто по ухабистой дороге пронеслась поглощенная далью колымага. Мало-помалу он приходил в себя, сновидение все больше стиралось в памяти, и старик осознал, что стоит на полу своей мансарды и держит в руке окровавленное шило.

Фитиль оплывшей свечи уже дотлевал, и слабые неровные отсветы ложились на лицо маленькой Катье, которая лежала заколотой на старом потертом диване.

Клинкербогк обезумел от беспредельного отчаяния.

Он хотел вонзить шило себе в грудь, но рука не слушалась. Он готов был завывать зверем, но челюсти свела судорога, и он не мог открыть рот. Он порывался расшибить голову о стену, но его ноги так обмякли, точно им перебили кости.

Бог, которому он истово молился всю жизнь, обратил к нему свой лик, но только – превратившийся в дьявольскую харю.

Старик доковылял до двери, чтобы позвать кого-нибудь

на помощь, и тщетно дергал за ручку, пока не упал без сил – дверь была заперта. Потом он как-то добрался до окна, распахнул его и хотел крикнуть Сваммердама, но тут небо заслонила черная физиономия с вытаращенными глазами.

Взобравшийся по цепи негр ввалился в комнату.

Перед взором Клинкербогга мелькнула узкая алая кайма облаков на востоке, и память молнией пронзила картина недавнего сна, старик с мольбой простер руки к черному чудовищу, словно перед ним был Спаситель.

Узибепю в ужасе отпрянул, когда лицо старика просияло блаженной улыбкой, затем он подскочил к сапожнику и стиснул ему горло так, что раздался хруст позвонков.

Минуту спустя он, набив карманы золотом, выбросил труп из окна.

Послышался всплеск мутной смрадной воды, и сорока с ликующим криком: «Авраам! Авраам!», пролетев над головой убийцы, унеслась в серую рассветную мглу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Несмотря на то, что Хаубериссер проспал до полудня, проснувшись, он почувствовал свинцовую тяжесть во всем теле.

Он был настолько заинтригован тем, что было написано на свалившемся ночью свитке и откуда он взялся, что это тревожное любопытство не давало по-настоящему заснуть, подобно тому как мешает здоровому сну принятое накануне решение проснуться не позже такого-то часа и такой-то минуты.

Он поднялся и начал исследовать стены ниши, в которой стояла кровать; вскоре в деревянной обшивке без труда удалось обнаружить откидную дверцу ящика, где, несомненно, хранился свиток. Ящик был пуст, если не считать разбитых очков и пары гусиных перьев, и, судя по чернильным пятнам, служил прежним хозяевам чем-то вроде маленького секретера.

Хаубериссер разгладил листы и попытался расшифровать текст.

Письмена изрядно поблекли, а в некоторых местах были совершенно неразборчивы, целые листы, впитав сырость стен, склеились в толстые заплесневелые пласты, что почти не оставляло надежды уяснить содержание свитка.

Начало и конец вовсе отсутствовали, а вычерки многих

фраз склоняли к предположению, что сей документ представляет собой, скорее всего, набросок, черновой вариант некоего литературного создания, возможно, дневника.

Не было ни имени автора, ни каких-либо ориентирующих дат, позволявших определить возраст манускрипта.

Обманутый в своих надеждах Хаубериссер собирался уже отложить свиток и снова лечь, чтобы наверстать часы отдыха, отнятые бессонницей, но, перебирая листы в последний раз, он наткнулся на имя, которое повергло его в такую оторопь, что он поначалу не поверил своим глазам.

К сожалению, он осознал это с опозданием, уже перескочив через несколько листов, а нетерпение весьма затрудняло поиск нужного листа.

Тем не менее он мог бы поклясться, что это было имя Хадира Грюна, которое буквально зацепило его взгляд. Это настолько ясно запечатлелось в памяти, что, закрыв глаза, Фортунат видел и эти буквы, и даже кусок смазанного текста вокруг.

Горячие лучи солнца били сквозь незашторенные широкие окна, комната с желтыми штофными обоями на стенах наполнилась золотистым светом, и однако, несмотря на все великолепие чудесного полуденного часа, Хаубериссера на мгновение охватил ужас. Это был еще неведомый ему кошмар наяву, который вторгается в жизнь без всяких внешних причин, выходя из самых темных закоулков души, как некий пещерный монстр, который вскоре уползает восвояси,

ослепленный солнечным светом.

Хаубериссер смутно догадывался, что дело не в рукописи и не в неотвязном имени. Пароксизм глубокого недоверия к самому себе – вот что белым днем толкало его в бездну ночи.

Он быстро завершил свой туалет и позвонил.

– Скажите, госпожа Омс, – обратился он к подавшей завтрак экономке, которая вела его холостяцкое хозяйство, – не знаете ли вы случайно, кто здесь жил раньше?

Старушка призадумалась.

– Много лет назад здешним хозяином был, дай Бог памяти, один пожилой господин, очень богатый и, по-моему, большой чудак. Потом дом долго пустовал, а еще позднее его отдали сиротскому ведомству, менейр.

– А вы не знаете, как звали прежнего хозяина и жив ли он?

– Чего не знаю, того не знаю, менейр.

– Спасибо и на этом.

Хаубериссер вновь принялся изучать свиток. Первая часть рукописи, как он вскоре понял, представляла собой авторское жизнеописание и в коротких, порой бессвязных фразах рассказывала о судьбе человека, преследуемого злосчастьем и пытавшегося всеми мыслимыми средствами обеспечить себе достойное существование. Но всякий раз его попытки в последний момент кончались провалом. И как ему удалось позднее в одно прекрасное утро проснуться богачом, понять было невозможно за отсутствием нескольких листов текста. А какие-то Хаубериссеру пришлось отло-

жить, поскольку на пожелтевшей покоробленной бумаге уже не проступало ни единого знака. То, что составляло следующую часть, вероятно, было написано спустя годы: чернила стали поярче, а строки не столь ровными, будто написанными дрожащей старческой рукой. Некоторые фразы, в содержании которых Хаубериссер увидел нечто близкое своему собственному душевному состоянию, он отметил особо, чтобы лучше проследить связующую мысль повествования: «Кто полагает, что живет ради своих потомков, обманывает самого себя. Это ложное утверждение. Пройденный человечеством путь – не путь прогресса. Прогресс лишь мнится. Только единицы из сынов человеческих действительно шли вперед. Круговорот не есть продвижение. Мы должны разорвать круг, иначе ничего не добьемся. Те, кто думает, что жизнь начинается рождением и кончается смертью, не видят круга. Где уж им разорвать его!»

Хаубериссер продолжал листать и вдруг обомлел: в верхнем углу листа строка начиналась словами «Хадир Грюн!»

Так и есть. Это уже не игра воображения.

Затаив дыхание, он впился глазами в следующие строки. Но они ничего не проясняли. Имя было окончанием фразы, начинавшейся на предыдущей странице, а ее-то как раз и не хватало. У него в руках был лишь кончик нити, которая, однако, наводила на мысль, что автор рукописи связывал с этим именем некое четкое представление, а, возможно, и лично знал человека, которого звали Хадир Грюн.

Хаубериссер схватился за голову. Что за напасть такая? Похоже, чья-то невидимая рука затеяла с ним совсем не безобидную игру.

И как бы велико ни было искушение прочесть следующие строки, ему уже не хватало выдержки сделать это. Буквы плясали перед глазами.

С него хватит, больше он не даст морочить себя нелепыми случайностями.

Пора ставить точку!

Он позвал экономку и распорядился вызвать экипаж. «Надо просто заявиться в этот салон и потребовать господина Хадира Грюна, – решил он, но тут же понял, что это пустая затея. – Чем виноват старый еврей, если мне не дает покоя его имя, преследуя, точно кобольд?» Однако госпожа Омс уже отправилась выполнять его поручение.

Он затравленно расхаживал из угла в угол.

«Я веду себя как помешанный, – пытался он совладать с собой. – Какое мне, собственно, до всего этого дело? Жил бы себе спокойно... Как обыватель, – добавил ехидный голосок в глубине сознания и тем самым изменил ход мыслей Фортуната. – Разве судьба еще не доказала мне, – вслух упрекнул он себя, – что жизнь лишается всякого смысла, если жить так, как повелось? Если я даже отчебучу нечто несусветное, это, пожалуй, будет разумнее, чем переходить на трусцу обывательского быта с его единственной целью – дожить до бессмысленной смерти».

В нем вновь глухо заурчало отвращение к жизни, и он понял, что и ему ничего не остается, если уж он хочет оттянуть неотвратимый миг самоубийства от пресыщения, кроме как, хотя бы на время, пуститься в свободное плавание, покуда судьба, сделав очередной виток, не вынесет к твердому берегу какой-то спасительной истины или же не охладит железным ветхозаветным речением: нет ничего нового под солнцем и все возвратится в прах⁴⁵.

Фортунат отнес свиток в библиотеку, чтобы положить его в письменный стол.

Мнительность в отношении странных событий настолько обострилась, что он изъял из рукописи лист с преследовавшим его именем и сунул в бумажник.

Он сделал это не из суеверного опасения, что лист может исчезнуть, но лишь из желания иметь его всегда под рукой, чтобы не полагаться только на память. Таков уж инстинктивный защитный прием человека, который стремится не идти на поводу у капризов памяти и отвергать то, что дается непосредственным ощущением, если вдруг загадочные случайности внесут сумбур в привычную картину повседневного бытия.

– Экипаж уже внизу, – доложила экономка, – а вот и депеша вам подоспела.

«Настоятельно прошу сегодня к себе на чай.

⁴⁵ ...и все возвратится в прах. – Еккл. 3: 20.

Общество знатное, среди прочих твой друг Цехоньски и, увы, Рюкстина. Разрази тебя гром, если бросишь меня одного в этом испытании.

Пфайль».

Хаубериссера передернуло от негодования, он был уверен, что у «польского графа» хватило наглости сослаться на него, чтобы завязать знакомство с бароном Пфайлем.

И он велел ехать на Йоденбреестраат.

– Да-да, любезный, прямо по Йоденбрют, – с улыбкой ответил он кучеру, когда тот спросил, ехать ли напрямик через Йордаан, имея в виду еврейское гетто, или же в обход, боковыми улицами.

Вскоре они углубились в ту часть города, которая своим бытовым ландшафтом разительно отличалась от типичной для европейских городов картины.

Казалось, жизнь тут выплеснулась из домов наружу. Прямо на улице стряпали, стирали и гладили. Над мостовой были натянуты веревки с развешенными для просушки грязными чулками, да еще так низко, что кучеру приходилось то и дело нагибать голову, чтобы не зацепить чью-нибудь одежду... Часовщики, сидевшие за крохотными столиками, не вынимая из глаз свои оптические насадки, таращились на проезжающие дрожки, словно охваченные внезапным испугом глубоководные рыбы... Младенцев кормили грудью или

же держали над оградой канала, покуда они не облегчатся.

Какого-то немощного старика вместе с кроватью и ночным горшком вынесли на улицу и пристроили у входа в дом, чтобы он подышал «свежим воздухом». А рядом, на углу, тучный обрюзглый еврей, с головы до пят облепленный пестрыми куклами, как Гулливер лилипутами, не переводя дыхания, рекламировал свой товар таким неотразимо пронзительным голосом, словно ненароком проглотил серебряную флейту: «Поппипоппипоппи...» «Клеерко, клеерко, кл-е-еркооп», – гудел свою призывную песню старьевщик, этакий Исайя с белоснежными пейсами и в черной хламиде, избравший своим поприщем торговлю лохмотьями; время от времени он, как победно пронесенным сквозь бои знаменем, размахивал оторванной штаниной и даже подмигивал Хаубериссеру, приглашая посетить свою лавку, где можно без всяких стеснений разоблачиться. Из бокового переулка вырвались распевы многоголосого хора с самыми невероятными модуляциями, в его полифонии отчетливо звучали темы свежей сельди, крепких огурчиков и ядреной, прямо с грядки, клубники, что безжалостно раздражило аппетит замершего в благоговении кучера, а тут как назло пришлось постоять, пережидая, пока с дороги уберут горы невыносимо смердящего тряпья. Их нагромоздила целая рать еврейских старьевщиков, которые без усталости приносили все новые вороха и, пренебрегая употреблением мешков, совали грязную рвань за пазуху, поближе к голым бокам.

При этом совершалось презанятое превращение: появлялись они подобием тюфяков, набитых тряпками, и тут же на глазах до неузнаваемости тощали, а затем с крысиным проворством разбегались, чтобы доставить очередную порцию ветоши...

Наконец мостовая раздалась вширь, и Фортунат увидел сверкающее на солнце стеклянное здание, где помещался «салон-иллюзион».

Какое-то время пришлось потоптаться внутри лавки, пока не опустился ставень окошка в перегородке – на сей раз не так шумно, как вчера, и с более заметным пиететом к клиенту, – и проем заполнил бюст продавщицы.

– Чем могу служить, менейр? – спросила молодая дама довольно холодным тоном и с напускной рассеянностью.

– Я бы хотел поговорить с вашим хозяином.

– Господин профессор, к сожалению, уехал вчера на неопределенное время.

Продавщица насмешливо поджала губы и по-кошачьи сверкнула глазами.

– Я имею в виду не господина профессора, юфрау, пусть вас это не беспокоит. Мне бы хотелось перемолвиться с тем старым господином, которого я видел вчера за конторкой.

– Ах *этого!* – лицо дамы потеплело. – Господина Педерсена из Гамбурга. Который вчера в фильмоскоп смотрел? Так, что ли?

– Нет, я имею в виду того старого иудея в кабинете. Я ду-

мал, это его магазин.

– Наш магазин? Наш магазин никогда не принадлежал никакому еврею. У нас чисто христианская фирма.

– Ради Бога! Но тем не менее я хочу поговорить со стариком евреем, которого видел за конторкой. Будьте так добры, юфрау!

– Йезус, Мария! – воскликнула продавщица, затараторив в подтверждение своей искренности на прямодушном венском диалекте. – Как на духу клянусь, у нас тут сроду жидов не держали. Какое там! А уж вчера за конторкой тем паче.

Хаубериссер не верил ни единому слову. С трудом скрывая раздражение, он старался придумать какую-нибудь уловку, чтобы растопить лед недоверия своей собеседницы.

– Ну хорошо, юфрау, забудем это. Но скажите хотя бы, кто такой этот Хадир Грюн, имя которого значится там, на вывеске?

– На какой-такой вывеске?

– Помилуйте, барышня! Снаружи на вашей вывеске!

Продавщица округлила глаза.

– На нашей написано Циттер Арпад, – с явным недоумением промямлила она.

Взбешенный Фортунат схватил шляпу и выскочил на улицу. Но еще на пороге он успел увидеть в дверном зеркале, как продавщица, выражая крайнее изумление, постукивает пальцем по лбу. Подняв глаза на вывеску, он почувствовал легкий сердечный спазм, когда ему пришлось убедиться, что

под названием заведения стояло имя: Циттер Арпад. И никаких следов другого, стертого или закрашенного имени.

Он был настолько сбит с толку и пристыжен, что, не возвращаясь за оставленной тростью, развернулся и пошел прочь, куда глаза глядят, лишь бы поскорее убраться отсюда.

Пожалуй, не менее часа он, себя не помня, кружил по городу, забредал в глухие безлюдные переулки и тесные дворики. Перед ним вдруг возникали то дремлющие на солнечном припеке церкви, то зевы арок, где было темно и прохладно, как в погребке, а шаги звучали гулко, точно в монастырской галерее.

Дома казались вымершими, будто жильцы покинули их лет двести назад, хотя там и сям на барочных подоконных плитах среди цветочных горшков нежились и лоснились в полуденных лучах ангорские кошки. Царило полное безмолвие.

Высокие вязы с неподвижной как на картинке листвой, вокруг которых толпились потемневшие от старости домишки с чисто умытыми решетчатыми окнами, взиравшими на зеленую поросль с удивлением и лаской добрых бабушек.

Он шел под низкими арочными сводами с отшлифованными на протяжении столетий каменными опорами, углубляясь в вечный полумрак тупиков, стиснутых высокими стенами с тяжелыми дубовыми воротами, створки которых будто срослись и, быть может, от века не открывались. Бульж-

ные мостовые были пронизаны зелеными прожилками мха, а вмурованные в стенные ниши красно-бурые мраморные плиты с полустертыми надгробными надписями робко напоминали о том, что некогда в этом месте находился некрополь.

Потом он снова шагал по козьей тропе тротуара вдоль незатейливых, выбеленных пылью домов, вдоль которых вился ручей. А за стенами что-то гремело и бухало, словно там билось гигантское каменное сердце.

Повеяло сыростью. По перекрестью двух деревянных желобов, покосившихся на осклизлых опорах, бежала вода, срываясь кристально-чистой струей в лабиринт дощатых канавок.

И вот уже грозит заслонить свет дня кривая вереница узкогрудых высоких домов, но их самих неодолимо клонило вниз, и они держались друг за друга, словно под ними заходила ходуном земля.

Чуть дальше, за последней из многочисленных лавок, источающих запах выпечки и сыра, открывался вид на зеркальную гладь широкого канала, похожую на огромный слиток бутылочного стекла под голубым небом.

Берега были ни чем иным, как двумя рядами зданий, разделенными не только водой, но и очевидной чужеродностью друг другу. С одной стороны – маленькие и непритязательные, как скромные ремесленники, строения; с другой – серые громады товарных складов, надменные и не желающие знаться с беднотой на том берегу, с которым их не связыва-

ло ни одного моста. Единственным подобием перемычки было дерево, нависшее над водой канала и царапавшее своими ветвями окна богачей. Оно использовалось в качестве удилица, к коему добытчики речных угрей привязывали лески с красно-зелеными поплавками.

Хаубериссер повернул назад и начал обратный путь, вскоре его вновь окружило средневековье, словно он перешагнул через несколько столетий.

На стенах, над затейливо витиеватыми гербами, как встарь несли свою службу солнечные часы. Не померкли ни зеркальный блеск оконных стекол, ни румянец черепичных крыш. В тенистых уголках прятались маленькие часовни. Золотые шишечки башен, сияя округлыми боками, тянулись к белым, пышным, как слоба, облакам.

Решетчатая дверь в стене какого-то монастыря была открыта настежь, Хаубериссер вошел во дворик и увидел скамью под сенью плакучей ивы. Вокруг буйно росла трава. И ни единой живой души. Даже за окнами не мелькнуло ни одного лица. Какое-то мертвое царство...

Фортунат присел, решив привести в порядок свои мысли. Он уже успокоился, и тревога, вызванная заморочкой со словами на вывеске, совершенно улеглась.

Гораздо больше, нежели события внешнего порядка, его удивляло то, что происходит в нем самом, – неожиданное изменение образа мыслей, который казался ему каким-то чужим, как бы навязанным ему с недавних пор.

«С чего это я, сравнительно молодой человек, затеял стариковскую тяжбу с жизнью? В мои годы это, по меньшей мере, странно». Он тщетно пытался, напрягая память, выяснить, когда же произошла эта метаморфоза. Как и всякий молодой человек, он где-то до тридцати лет был рабом своих страстей и если ограничивал себя в наслаждениях, то не более, чем того требовали здоровье, темперамент и финансовые обстоятельства. О том, что в детстве он тяготел к рефлексии и мечтательности, Фортунат даже не вспомнил. Так откуда же пробился этот бледный, не помышляющий о цветении росток, который он называл своим теперешним «я»?

«Есть сокровенное потаенное развитие», – вспомнил он вдруг фразу, которую прочитал несколько часов назад. Он тут же полез в бумажник, извлек припрятанный лист рукописи и нашел в тексте то самое место.

«Годами оно таится под спудом и вот в одночасье, неожиданно-негаданно, часто под влиянием ничтожного события, спадают покровы, и в наше бытие уже простерта сильная, полная зрелых плодов ветвь, цветения коей мы и не заметили, и тогда мы видим, что, сами не ведая того, были садовниками, взрастившими таинственное древо. Если бы я не поддался соблазну поверить в то, что это древо могла взлелеять какая-то сила, помимо меня самого, скольких горестей удалось бы мне избежать! Я был единоличным властителем своей судьбы и не подозревал об этом! А думал: коль скоро я не в силах своими деяниями изменить ее, то и бессилён

противостоять ей. Сколько раз не ум, но чувство подсказывало мне: быть господином своих мыслей значит стать всемогущим кормчим своей судьбы! Но всякий раз я шел на попятный, ибо мои робкие попытки не приносили плодов сей же час. Не мог я ценить магической силы мысли и то и дело впадал в извечное людское заблуждение, полагая, что деяние сдвигает горы, а мысль – просто химера. Лишь тот, в чьих руках источник света, повелевает и тенью, а вместе с ней – и судьбой. Тот же, кто пытается добиться сего деянием, сам всего лишь тень, вступившая в непрестанную борьбу с другими тенями. Но, видно уж, скорее жизнь измучит человека до смерти, чем мы пойдем наконец истину, дающую ключ к разгадке. Сколько бы ни пытался я помочь людям своим вразумлением, они не слушали меня – кивали и соглашались, но оставались глухи. Должно быть, истина чересчур проста, чтобы ее постичь, не сходя с места. Или же скорее дорастет „древо“ до небес, нежели человек до истины? Боюсь, что отличие человека от человека порой больше, чем различие между человеком и камнем. Цель нашей жизни – постичь самыми чуткими фибрами то, что дает этому древу пышно зеленеть и защищает от усыхания. Все прочее – жалкий удел копаться в навозе и не знать, чего ради. Но много ли найдется сегодня таких, кто понимает, о чем я толкую? Большинство же подумает, что мне просто захотелось говорить образно, наврать какую-нибудь притчу. Двусмысленность языка – вот что разделяет нас. Обнаружу я свои мысли о со-

кровенном росте, это сочли бы потугой казаться умнее или лучше. Так же как философию привыкли считать теорией, но не предписанием. Просто исполнять заповеди, пусть даже самым честным образом, недостаточно для того, чтобы поспешествовать внутреннему росту, ибо это лишь верхний слой. Нарушение заповедей часто бывает лучшей теплицей для прорастания побега. Но мы цепляемся за них, когда их надо нарушать, и нарушаем, когда от них нельзя отступить. Зная, что святые творили лишь добрые дела, люди вздумали добрыми делами достичь святости, и потому стезей ложной веры идут напрямиком к пропасти, мня себя праведниками. Превратно толкуемое смирение так ослепляет их, что они в ужасе отшатнутся, подобно ребенку, впервые взглянувшему в зеркало, и задрожат от страха, подумав, что лишились разума, когда придет время – и Его лик откроется им».

Радость надежды, окрылившая Фортуната, показалась ему чем-то новым, почти незнакомым, так долго это чувство спало мертвым сном, и вот вдруг проснулось и укрепило его, хотя он поначалу не очень-то понял да и не жаждал понять чему, собственно, радоваться и на что надеяться.

Он почувствовал себя счастливым, и ему были уже ничем зловещие чары загадочных совпадений во всей этой истории с Хадиром Грюном.

«Надо жить и радоваться, – ликовало все его существо, – что великолепная дичь, краса неведомых лесов нового знания, проломила забор будней и пришла попасть в моем са-

ду. Радоваться, а не сетовать на то, что в заборе сломана пара гнилых жердей».

«Вполне вероятно, что последние из прочитанных мною строк намекают на лик Хадира Грюна», – подумал Хаубериссер, и ему не терпелось узнать побольше, к тому же кое-какие слова в конце страницы позволяли предположить, что на следующей будет подробно разъяснено, как понимать эту самую «магическую силу мысли».

Поспешить бы скорее домой и просидеть до самой ночи за разбором текста, но скоро уже пробьет четыре, а его ждет у себя Пфайль.

Странное гудение в воздухе, от которого чуть не заложило уши, заставило Фортуната оглянуться. Поднявшись, он был немало удивлен, увидев возле скамейки какого-то человека во всем сером, с фехтовальной маской на лице и подобием копья в руке.

В нескольких метрах над его головой плыло какое-то плотное, но изменчивое в своих очертаниях облачко, оно вытягивалось то в одну, то в другую сторону и, покругив, село на ветку дерева, все еще продолжая шевелиться.

Человек в сером вдруг подскочил к дереву и поддел своим копьём, на конце которого оказалась сеть, этот загадочный ворох, после чего с довольным видом направился к одному из домов и по пожарной лестнице, с перекинутым через плечо копьём и с уловом за спиной, забрался на крышу, вскоре скрывшись из виду.

– Это пасечник монастырский, – пояснила Хаубериссеру появившаяся из-за колодца пожилая женщина, заметив, как округлились глаза у нездешнего господина, – рой улетел из улья, вот и пришлось погоняться за маткой.

Фортунат снова двинулся в путь и, повиляв по кривым переулкам, вышел на какую-то площадь и нанял авто, чтобы поскорее добраться до Хилверсюма, где его ожидал Пфайль.

Широкая и прямая как стрела улица была наводнена велосипедистами – море голов, рябь сверкающих педалей. Но в течение часовой поездки Хаубериссер почти не замечал того, что происходило за окном машины. Он не видел ни потока, ни проплывающих мимо берегов. Перед глазами стояла поразившая его картина: человек в маске и пчелиный рой, клубившийся вокруг своей владычицы, без которой, как видно, не мог жить.

Безмолвная природа, каковой она казалась Фортунату во время последней вылазки за город, сегодня явила свой новый лик, и у него было такое чувство, будто ему внятны слова из разомкнувшихся уст.

Человек, поймавший матку, а вместе с ней и весь рой, обрел символический смысл.

«Разве сам я не пульсирующий сгусток множества живых клеток – размышлял он, – которые по унаследованной за миллионы лет привычке роятся вокруг некоего сокровенного ядра?»

Он смутно ощущал таинственную связь между этой сценой с пчеловодом и законами внутренней и внешней природы, и ему представилось, в каком дивном, роскошном буйстве красок ожил бы для него мир, если бы ему удалось увидеть в новом свете и те вещи, которые занесены серым песком обыденщины и ее языка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За окном проплывали хилверсюрские виллы, машина бесшумно катила вдаль по липовой аллее, подъезжая к парку, окружавшему сияющий белым фасадом загородный дом по имени «Беззаботный».

Барон Пфайль уже стоял на площадке наружной лестницы и, увидев вышедшего из авто Хаубериссера, с нескрываемой радостью устремился ему навстречу.

– Как славно, что ты приехал, старина. А я уже испугался, что моя депеша не долетела до твоей сталактитовой берлоги. Что-то случилось? У тебя такой рассеянный вид. Впрочем, Господь вознаградит тебя за то, что ты присватал мне этого бесподобного графа Цехоньски. Такая утеха в наш безутешный век. – Пфайль был в столь приподнятом настроении, что не дал и рта раскрыть своему другу, когда тот порывался опровергнуть его суждения о прожженном аферисте. – Сегодня утром он заявился ко мне с визитом. Не гнать же его. Я предложил отобедать у меня. Если не ошибаюсь, двух серебряных ложек уже не хватает. Знаешь, как он представился? Как крестник Наполеона Четвертого. Ни больше ни меньше. Да еще на тебя сослался.

– Какая наглость! – вскипел Хаубериссер. – По щекам бы отхлестать проходимца!

– Ну зачем же? Ему всего-то и надо, чтобы его приняли

в какой-нибудь приличный игорный клуб. Почему бы не по-трафить такой блажи? Желания человека – закон. Если он сам так и норовит промотаться.

– Это ему не грозит. Он профессиональный шулер, – перебил Хаубериссер.

Пфайль с сочувствием посмотрел на него.

– Думаешь, он найдет простаков в современных игорных клубах? Там в этом деле мастера почище его. Вылетит оттуда без штанов. Кстати, ты видел его прелестные часики?

Хаубериссер рассмеялся.

– Если ты мне друг, – воскликнул барон, – уж ухитрись, купи их у него и подари мне на Рождество.

Он осторожно подкрался к открытому окну веранды и призывно кивнул своему другу.

– Ты посмотри, ну чем не идилия?

Циттер Арпад, несмотря на еще не поздний час, в черном фраке с гиацинтом в петлице, в лимонно-желтых сапогах и с черным галстуком на белоснежной груди сидел, поглощенный трогательно доверительной беседой с пожилой дамой, которая вся млела и пылала – видимо, от восторга, что в ее сети наконец-то прет добыча.

– Узнаешь? – шепнул Пфайль. – Консульша Рюкстина. Упокой, Господи, поскорей ее душу... Смотри, он показывает ей часы! Держу пари, он пытается охмурить старушку живой любовной картинкой на своих часах. Сердцеед высшего разряда, тут двух мнений быть не может.

– Подарок моего дорогого крестного, – послышался дрогнувший от умиления голос «графа».

– О, Флоодзимерш! – прошелестела почтенная дама.

– Черт побери! Они уже так продвинулись, что она называет его по имени! – Пфайль тихонько присвистнул и взял своего друга за плечо. – Быстро! Уходим! Мы же можем помешать. Жаль, еще солнце, а то бы я выключил свет. Душой я с Цехоньски. Нет, не сюда! – он остановил Хаубериссера перед распахнутой лакеем дверью. – Там бурлит политическая похлебка. – Хаубериссер мельком увидел многочисленное общество солидных мужей, в центре которого монументально возвышался пышнобородый лысый господин, уперев свои властные персты в столешницу. – Пойдем-ка лучше в мою Медузейную залу.

Хаубериссер удивленно осматривался в весьма необычной комнате, усевшись в обитое рыжеватой замшей клубное кресло, такое мягкое, что он натурально утонул в нем.

Стены и потолок покрыты гладкой, с невидимыми швами обшивкой из пробкового дерева; оконные стекла – не плоские, а плавно-волнистые; мебель, углы комнаты, даже дверные оклады – все округлено, сглажено; ноги по щиколотку увязают в ворсе ковра, словно под ними песок. И все как бы окутано дымкой мягких светло-коричневых тонов.

– Я пришел к выводу, – пояснил Пфайль, – что человеку, обреченному жить в Европе, подобная психологическая палата необходима как воздух. Посидев здесь хоть час, са-

мый истеричный неврастеник превращается в кроткого моллюска. Поверь, я просто затюкан всякого рода обыденностями, но стоит мне только вспомнить об этой врачующей душе ванне – и все заботы отлетают, как брызги от собачьего хвоста. Благодаря ей я в любое время без тени раскаяния могу чихать на все неотложные дела.

– После таких слов можно подумать, что ты самый циничный гедонист на свете, – с улыбкой заметил Хауберрисер.

– Ну уж нет! – возразил Пфайль придвигая поближе к гостю округлую, как медуза, сигаретницу. – Скорее, наоборот. Я бы сказал, что всеми моими помыслами и поступками мне же во вред руководит обостренная совесть... Я знаю, ты убежден, что жизнь бессмысленна. Я тоже долгое время пребывал в этом заблуждении, но постепенно наступило просветление. Прежде всего надо поставить крест на всех карьеристских замыслах и вновь обрести естественность.

– А это, – Хауберрисер указал на пробковые стены, – ты тоже считаешь естественным?

– Разумеется. Если бы я был неимущ, мне пришлось бы жить в тесном клоповнике, а вздумай я

переселиться в него сейчас, это было бы самым противоестественным порывом. Должно быть, у судьбы были свои резоны, коли я появился на свет в богатом доме... Может, это награда за какие-то мои заслуги в прежней жизни, о чем я, не взысканный благодатью, начисто забыл?... Нет. По-

жалуй, слишком припахивает теософским китчем. Вернее всего, на меня возложена благородная миссия – обжираться сладким пирогом до тех пор, пока разнообразия ради не захочется черствой краюшки. Что же, чему быть, того не миновать. В худшем случае я совершу ошибку... Раздать свои деньги другим? Хоть сейчас. Но хотелось бы знать, почему я должен так поступить? Только потому, что об этом твердят во всех бульварных книжонках? Как бы не так. Социалистический лозунг «Прочь с дороги!» я принципиально не приемлю. А давать сладкую пилюлю тому, кого может исцелить только горькое лекарство, – какой в этом смысл? Фальсифицировать судьбу? Только этого мне не хватало. Хаубериссер насмешливо подмигнул.

– Я знаю, с чего ты ухмыляешься, мерзавец! – рассердился Пфайль. – Хочешь намекнуть на ту подачку, на несколько грошей, которые я – по рассеянности, разумеется, – отсыпал старому сапожнику... Какая бестактность... пенять человеку на его слабости. Я сам всю ночь казнил себя из-за своей бесхарактерности. Что если старик спятит по моей милости?

– Коли уж мы заговорили об этом, должен заметить, что не следовало сразу отваливать ему такую сумму, лучше...

– ... подышать с голоду в рассрочку, – язвительно добавил Пфайль. – Все это ерунда. Я допускаю, что тому, кем в жизни движет чувство, многое простится, потому что он был щедр в любви. Но прежде будьте любезны поинтересоваться, хочу ли я, чтобы меня прощали. Я намерен отдать все свои дол-

ги, в том числе и моральные, вернуть всё, до последнего цента. У меня такое чувство, что моя бесценная душа задолго до моего рождения в мудрости своей возжелала немалых богатств... Из предусмотрительности. Чтобы не пришлось даже соваться в Царство небесное через игольное ушко. Ее воротит от благоговейных аллилуйных стенаний, и я прихожу в ужас от всякой монотонной музыки... Да, если бы Вышний суд был пустой угрозой! Но я убежден, что есть некая небесная инстанция после смерти. И требуется прямо-таки эквилибристская сноровка, чтобы оставаться порядочным человеком и, с другой стороны, не стать узником рая. Над этой проблемой ломал голову еще божественный Будда.

– И ты, как видно, тоже.

– Еще бы. Ведь просто жить – человеку мало. Не так ли? ... Ты представить себе не можешь, каким бременем я себя навьючил. Я имею в виду не светскую канитель – тут меня выручает домоправительница, – а духовную работу с целью... создания... нового государства и новой религии. Именно так.

– Помилуй Бог! Тебя же в тюрьму упекут.

– Не бойся. Я не мятежник.

– И много вас, отцов-основателей, в вашей общине? – спросил Фортунат, расплываясь в улыбке, так как принял слова друга за шутку.

Пфайль осадил его довольно суровым взглядом.

– Мне кажется, ты, по обыкновению, не понимаешь глав-

ного. Неужели ты не чувствуешь, что в воздухе носится нечто такое, чего, может быть, не было от века. Предрекать конец света – дело неблагодарное. Это делали так часто, что подобные пророчества мало кого убеждают. Тем не менее, я думаю, на сей раз можно верить тому, кто чувствует и возвещает приближение подобного события. Это не обязательно уничтожение земли. Крах старого мирозерцания – тоже конец света.

– И ты полагаешь, всеобщий переворот в умах можно совершить в считанные дни? – Хаубериссер покачал головой. – Уж скорее я поверю в грядущие природные катаклизмы. Человечество нельзя изменить одним махом.

– Разве я утверждаю, что мы избавлены от внешних катастроф?! – воскликнул Пфайль. – Напротив, я каждым нервом чувствую их приближение. Что же касается внезапных внутренних потрясений, изменяющих все человечество, то тут за тобой лишь кажущаяся правота. Какой отрезок истории ты способен охватить взглядом, чтобы делать столь решительные обобщения? Какую-то несчастную тысячу лет!... Но разве даже за этот короткий срок не случались духовные эпидемии, которые заставляют поломать голову? Были же крестовые походы детей, хотя вряд ли это означает, что могут воследовать крестовые походы приказчиков. Но кое-что все же возможно – и с тем большей вероятностью, чем дальше приходится ждать... До сих пор люди сносили друг другу головы ради наших сомнительных фантомов, которые

осторожно именовали не призраками, а идеалами. И вот наконец, я надеюсь, пробил час войны против этих измышлений, и я со всей охотой буду участвовать в ней. Годами проходил я солдатскую выучку, в духовном, разумеется, смысле, и давно понял, хотя с полной ясностью только сейчас, – близится великая битва с проклятыми призраками. Уверяю тебя, если не возьмешь быка за рога, если не подрубишь под корень эти ложные идеалы, с ними уже не покончить. Уму непостижимо, как нагло и основательно окопачен человек в процессе так называемого наследования идей... Так вот, эту самую систематическую прополку собственной духовной нивы я и называю основанием нового... государства. Из пнетета к существующим системам и чувства такта по отношению к ближним, которым я, упаси Бог, не хочу навязывать свои взгляды на честность с самим собой и бессознательную лживость, я заведомо ограничиваю себя в расширении моего государства, которое называю стерильным, поскольку оно тщательно очищено от духовных бактерий ложного идеализма. В этом государстве лишь один подданный – это я сам. И я же единственный миссионер своего вероучения. Перебежчики мне не нужны.

– Стало быть, организатором ты не подвизаешься, – с облегчением заметил Хаубериссер.

– Организатором мнит себя сейчас всякий, а отсюда следует, что это совершенно ложный путь. Двигаться надо в направлении, противоположном потоку толпы.

Пфайль встал и принялся расхаживать по комнате.

– Даже Иисус, – продолжал барон, – не занимался организаторской деятельностью. Он подал пример. А у госпожи Рюкстина и ее товарок хватает наглости воображать себя организаторами. Организовывать дозволено лишь природе и мировому духу... *Мое* государство утверждено навеки, оно не нуждается в организации. Будь иначе, оно лишилось бы цели.

– Но ведь когда-нибудь твое государство, если у него есть цель, должно будет объединить многих. Где же ты возьмешь подданных, дорогой Пфайль?

– Пойми же, если кого-то *одного* осеняет идея, это лишь означает, что одновременно этой же идеей захвачены многие. Кто этого не понимает, тот вообще не знает, как живет мысль. Идеи заразительны, даже если не произносятся вслух, а может, именно поэтому они так летучи. Я твердо убежден, пока мы с тобой разговариваем, мое государство пополнило множество граждан, и в конце концов оно станет глобальным... Сейчас гигиена хоть куда... дезинфицируют даже дверные ручки, чтобы не подхватить какую-нибудь болезнь. Но уверяю тебя, есть зараза и пострашнее, к примеру, расовая и национальная вражда, разносимая пламенными трибунами и кликушами. Тут нужны более сильные дезинфицирующие средства, чем для обработки дверных ручек.

– Значит, ты намереваешься искоренить национализм?

– Не мое это дело – выпалывать в чужих огородах то, что

не умирает само собой. В своем собственном я волен делать все, что вздумается. Многие считают национализм неизбежным явлением, пусть так, но пришло время такого «государства», граждане которого объединены не территорией в определенных границах и не общим языком, а образом мыслей и могут жить, как им хочется... В известном смысле правы те, кто смеется над чудачком, заявляющим о своих планах переделать человечество. Только им невдомек, что вполне довольно того, что хоть один человек коренным образом пересоздал себя. И если это удастся, его усилия не пропадут даром, независимо от того, узнает о них общество или нет. Представь себе, что кто-то проделал дырочку в картине существующего бытия – она уже не зарастет, и не имеет значения, заметят ли ее сегодня или через миллионы лет. Однажды возникшее исчезает лишь иллюзорно. Поэтому разорвать сеть, в которой запуталось человечество, но не публичными проповедями, а усилием рук, разрывающих оковы, – вот чего я хочу.

– Видишь ли ты какую-нибудь причинную связь между стихийными катастрофами, которых, по-твоему, следует ожидать, и предполагаемой переменной в умах? – спросил Хаубериссер.

– На первый взгляд, естественно, можно подумать, что стихийное бедствие, скажем землетрясение, побуждает человека, замкнуться в своей скорлупе. Но только – на первый взгляд. В действительности с причиной и следствием, как

мне представляется, дело обстоит совершенно иначе. Причин мы не выясним никогда, единственное, что действительно доступно нашим ощущениям, – это следствия. То, что мы принимаем за причины, – всего лишь предвещающий знак. Если я выпущу из рук вот этот карандаш, он упадет на пол. Счасть причиной падения ослабление мышц моих пальцев может только совсем юный гимназист. Я же вижу в этом верный знак, предвещающий падение. Всякое событие, за которым следует другое, является его предзнаменованием. А причина – нечто совсем иное. Мы воображаем себе, что в нашей власти находить исток следствия, и это одно из самых страшных заблуждений, постоянно искажающих нашу картину мира. На самом деле одна и та же таинственная причина вызвала падение карандаша и заставила меня за секунду до этого разжать пальцы. Внезапные сдвиги в сознании и землетрясения, возможно, имеют единую причину, но то, что первое является причиной второго, совершенно исключено, что бы там ни предсказывал «здравый» смысл. Первое – в той же мере следствие, как и второе. Следствие никогда не влечет за собой другое следствие, оно может лишь, как было сказано, быть предзнаменованием в череде событий и больше ничем. Мир, в котором мы живем, – это мир следствий. А царство причин – за семью печатями, и, чтобы проникнуть туда, надо постичь науку волхвования.

– А разве овладеть своими мыслями, то есть добраться до их самых сокровенных корней, не волшебство?

Пфайль резко остановился.

– Конечно! А как же иначе? Именно поэтому я и ставлю мышление на ступень выше жизни. Оно ведет нас к далекой вершине, поднявшись на которую, мы станем не только всевидящими, но и всемогущими, сможем осуществить любое свое желание... До сих пор мы знали лишь чудеса технических изобретений, но, я уверен, близок час, когда люди, хотя бы немногие, одним лишь усилием воли будут творить не менее чудесные вещи. Столь восхищавшие нас способности хитроумнейших машин – не более чем обирание ягод вдоль дороги, ведущей к вершине... Истинной ценностью обладает не изобретение, а талант изобретателя, не картина, а дар живописца. Холст может сгнить, а творческий дар нетленен, даже после смерти художника. Он пребудет как ниспосланная свыше сила, которая может столетиями таиться, дремать до той поры, пока не родится равновеликий ей гений, и тогда она просыпается в нем и становится явной. И меня даже радует, что почтеннейшее купечество может выторговывать у мастера лишь жалкие крохи его творческого достояния.

– Ты так разошелся, что и рта не даешь раскрыть. Дай слово-то молвить.

– Даю! Что же ты молчал?

– Но сначала ответь на вопрос: у тебя есть основание полагать... или какое предзнаменование склоняет тебя к мысли, что мы живем в преддверии... скажем так... перелома?

– Гм... ну... тут, скорее всего, дело в интуиции. Я сам,

можно сказать, бреду в темноте и продвигаюсь ощупью. У меня лишь *одна* путеводная нить, и та не толще паутинки. Мне кажется, я углядел пограничные вехи нашего внутреннего развития, они и указывают на срок нашего вступления в новые пределы... Случайная встреча с некой юфрау ван Дрейсен – сегодня ты с ней познакомишься – и то, что она рассказала о своем отце, укрепило меня в моих ожиданиях. Из этого я заключаю – может быть, и безосновательно, – что такая «веха», замаячившая в человеческом сознании, открывается всем, кто созрел для этого. Могу даже уточнить – только, ради Бога, не смейся – открывается как видение некоего зеленого лика.

Хаубериссер схватил друга за руку, едва подавив вопль изумления.

– Да что с тобой? – почти в испуге воскликнул Пфайль.

И Хаубериссер торопливо поведал ему о своих недавних приключениях. Они так увлеклись разговором, что не сразу заметили слугу, который явился доложить о прибытии юфрау Евы ван Дрейсен и господина доктора Исмаэля Сефарди, протянув барону поднос с двумя визитками и вечерний выпуск «Амстердамской газеты».

Вскоре зеленый лик стал предметом общей оживленной беседы.

Хаубериссер предоставил Пфайлю рассказать гостям о странных событиях, связанных с «салоном», Ева ван Дрейсен тоже предпочла, чтобы о визите к Сваммердаму здесь

услышали не от нее, а от доктора Сефарди, и ограничилась лишь несколькими репликами.

Ни Хаубериссер, ни Ева не чувствовали себя смущенными, и однако настроение обоих не располагало к словоохотливости. И хотя они, соблюдая приличия, время от времени встречались взглядами, оба безошибочно чувствовали, что всякая дежурная фраза светского диалога прозвучала бы нестерпимо фальшиво.

Хаубериссера почти пугало отсутствие всяких признаков женского кокетства, ибо он видел, каких мучительных усилий стоит Еве избегать всего, что могло бы послужить хотя бы намеком на желание понравиться или более глубокий интерес к его персоне, и в то же время он со стыдом, будто допустив дикую бестактность, ощущал свое неумение скрыть от нее, насколько ему очевидно, что ее видимое спокойствие шито белыми нитками. Она без труда читала его мысли, он догадывался об этом по ее нарочито скучающему виду, когда она как бы невзначай поглаживала лепестки роз в букете, по особой манере держать сигарету, по тысяче других едва Уловимых примет. Но он не знал, чем может помочь ей.

Кто знает, решишь он на какую-нибудь банальную любезность и напускное безразличие Евы сменилось бы естественной непринужденностью, но та же самая реплика могла бы либо глубоко уязвить ее, либо жестоко посрамить его самого в том, что касается душевной деликатности, а этого ему, конечно, вовсе не хотелось.

Как только она вошла в комнату, он на миг буквально поглупел от ее красоты, что она приняла за немое восхищение, которое было ей не в диковинку. Но потом, когда она стала догадываться, что он потрясен не только ею, но и прерванным разговором с бароном Пфайлем, в ней разыграло желание поразить его неотразимой, бронебойной женственностью.

Какое-то чувство подсказывало Хаубериссеру, что свою красоту, которой гордилась бы всякая женщина, Ева, будучи девушкой, в силу тонкой душевной организации, воспринимала в данный момент как бремя.

Он с великой охотой признался бы ей в своем восхищении, но побоялся впасть – от растерянности – в неверный тон.

Слишком многих красивых женщин ему довелось любить, чтобы терять голову при первом же натиске даже таких чар, которые исходили от Евы, и однако он, сам того не замечая, был уже приворожен ею.

Сначала он подумал, что она обручена с Сефарди, но, когда увидел, что это мало похоже на правду, его наполнила тихая радость.

Он тут же попытался образумиться. В нем заворочался страх вновь потерять свободу и угодить в уже знакомый водоворот смятений и переживаний, он слышал сигналы тревоги, но вскоре их заглушило такое явственное и сильное предощущение его нерасторжимости с Евой, что всякое

сравнение с тем, что он раньше называл любовью, отпадало само собой.

Молчаливый диалог словно связал их каким-то невидимым, но столь упругим и сильным лучом, что пронизательный Пфайль не мог этого не заметить... И еще его удручала глубокая, с трудом подавляемая боль, которая хмурой тенью проступала на лице Сефарди и слышалась в каждом слове судорожно-торопливой речи обычно такого неразговорчивого ученого.

Пфайль догадывался, что этот одинокий человек хоронит свою затаенную, а потому тем более страстную надежду.

– Как вы думаете, господин доктор, – обратился к нему Пфайль, когда Сефарди закончил свой рассказ, – куда может вести тот путь, по которому, как мне кажется, идут Сваммердам и сапожник Клинкербогк? Не заведет ли он в безбрежное море видений и...

– ...и связанных с этим несбыточных упований. – Сефарди пожал плечами и грустно добавил: – Это старая песня пилигримов, наугад бредущих по пустыне в поисках Земли обетованной, их морочит и манит фата-моргана, а на самом деле увлекает мучительная смерть от жажды. И все кончается все тем же криком: «Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»⁴⁶

– Быть может, вы и правы, доктор, в отношении тех, кто смотрит в рот пророчествующему сапожнику, – решительно

⁴⁶ Мк. 15: 34.

вмешалась в разговор Ева ван Дрейсен, – но Сваммердам – совсем другое дело. Вспомните, что нам рассказывал о нем барон. Старик нашел-таки своего зеленого жука, ему суждено обрести и гораздо большее.

Сефарди печально усмехнулся.

– От души желаю ему этого, но его путь, если не оборвется раньше, в лучшем случае закончится неминуемым: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой!»⁴⁷ ... Поверьте, юфрау Ева, о потусторонних вещах я размышлял гораздо больше, чем вы, возможно, предполагаете.

И всю жизнь, как проклятый, бился над вопросом: есть ли он на самом деле, спасительный выход из земного узилища?... Увы, чего нет, того нет! Цель человеческой жизни – в ожидании смерти.

– В таком случае самыми мудрыми окажутся те, – подал голос Хаубериссер, – кто живет только ради наслаждений?

– Да, если в состоянии. Но это могут позволить себе далеко не все.

– Что же остается всем прочим?

– Жить по любви и заповедям, как предписано Библией.

– И это говорите вы? – удивленно воскликнул Пфайль. – Человек, который проштудировал все философские системы от Лао-Цзы до Ницше? А кто придумал эти «заповеди»? Мифический пророк! Мнимый чудотворец! Вы уверены, что он не был просто безумным фанатиком? Не кажется ли вам,

⁴⁷ Лк. 23: 46.

что через пяток тысяч лет сапожник Клинкербогк, если его имя не канет в Лету, может воссиять в ореоле легендарного учителя?

– Разумеется, если его имя не канет в Лету, – просто ответил Сефарди.

– Стало быть, вы не сомневаетесь в существовании Бога, властвующего над людьми и повелевающего их судьбами? Вы можете обосновать это каким-то логическим построением?

– Нет, не могу. Да и не хочу. Я еврей. Не забывайте об этом. Еврей не только по вере, но и по крови, по племенным корням. И как таковой всегда возвращаюсь к древнему Богу моих предков. Голос крови сильнее всякой логики. И хотя рассудок убеждает меня, что я введен в заблуждение верой, моя вера говорит мне, что я введен в заблуждение рассудком.

– А что вы стали бы делать, если бы вам, как к сапожнику Клинкербогку, явилось некое существо и потребовало совершить определенные действия? – полюбопытствовала Ева.

– Я бы поставил под сомнение его миссию. Постарался бы не следовать его советам. Если бы удалось.

– А если бы не удалось?

– Тогда еще проще: пришлось бы повиноваться ему.

– Я бы никогда не пошел на это, – буркнул Пфайль.

– А с вашим складом ума нельзя и рассчитывать на то, что вам явится некое потустороннее существо, вроде клинкербогковского «ангела». Однако его немим указаниям сле-

довать все же придется. Хотя вы и будете в полной уверенности, что действуете по собственной воле.

– Вы же, наоборот, – парировал Пфайль, – постараетесь внушить себе, что сам Бог вещает вам устами фантома с зеленым ликом, тогда как все это ваши собственные мысли.

– А какая, в сущности, разница? Что такое весть? Это – мысль, *озвученная* в слове. А что такое мысль? *Беззвучное* слово, то бишь не что иное, как весть. Вы убеждены в том, что мысль, посетившая вас, родилась в вашем мозгу? Почему бы не допустить, что это – весть, принесенная вам? Принято думать, что человек – творец своих мыслей, а я считаю, по крайней мере, не менее вероятным, что он – своего рода приемник, с большей или меньшей чувствительностью улавливающий мысли, предположим, матери-земли. В пользу моей теории говорят многочисленные факты одновременного появления одной и той же идеи в головах разных людей. Вы, конечно, будете утверждать, если нечто подобное преподнесет вам собственный опыт, что такая идея изначально принадлежит вам и просто подхвачена другими. На это могу возразить: вы лишь оказались первым, кто уловил витающую в воздухе мысль, принял эту радиограмму самыми чувствительными клетками своего мозга. Другие тоже прочитали ее, только позднее... И чем увереннее человек в собственных силах и возможностях, тем быстрее он склоняется к убеждению, что является творцом своих мыслей. И напротив, чем больше он сомневается в своем всемогуществе, тем легче ему по-

верить, что осенившая его мысль внушена кем-то. Оба, по сути, правы. Только прошу вас избавить меня от сакраментального вопроса: «Как именно?» Я бы не хотел увязнуть в разъяснении столь сложной материи, как единосущное «я» всех и каждого... Что же касается явления зеленого лика сапожнику Клинкербогку, передавшего ему весть или мысль – а это, как я уже сказал, одно и то же, – сошлюсь на известный науке факт: существуют две категории людей, одни мыслят посредством слов, другие – образами. Предположим, Клинкербогк всю жизнь мыслил вербально, и вдруг его осеняет и захватывает совершенно новая мысль, для которой в нашем языке нет нужных слов. Есть ли у нее иной способ дойти до сознания, нежели как посредством видения говорящего образа, добывающегося контакта с ним, как это было с Клинкербогком, с господином Хаубериссером, а в вашем случае, боюсь, нашло себе выражение в человеке или портрете с зеленым лицом?

– Позвольте на минутку прервать вас, – сказал Хаубериссер. – Отец юфрау ван Дрейсен, как она упомянула, рассказывая о своем посещении Клинкербогга, называл человека с бронзовеющим ликом не иначе как «прачеловеком», нечто в этом роде вертелось и у меня на языке, когда я был в «салоне». Пфайлю тоже подумалось, что он видел портрет Вечного Жида, то есть опять-таки древнейшего представителя рода человеческого. Как бы вы, господин Сефарди, объяснили это в высшей степени знаменательное совпадение мыс-

лей? Может быть, как новую для всех нас «идею», которую мы можем постичь не в словесной конструкции, а в образе, открывшемся нашему внутреннему зрению? Что до меня, то я склонен думать, как бы это ни звучало, что в жизнь каждого из нас вошло одно и то же призрачное создание.

– Мне тоже так кажется, – тихо поддержала его Ева.

Сефарди на мгновение задумался.

– Совпадение, о котором идет речь, на мой взгляд, доказывает, что вас, всех троих, потревожила и пытается вразумить одна и та же «новая» мысль, и она не оставит своих попыток достучаться до вас. А личина прачеловека имеет, видимо, символический смысл: с нами стремится заговорить и тем самым обрести новую жизнь забытое достояние древнейших времен – мудрость, знание, исключительные психические способности людей далекого прошлого, что в нашем мире проявляется в картинах видений, доступных лишь немногим избранным... Не поймите меня превратно, я не хочу сказать, что фантом не *может* быть неким существом, живущим своей жизнью. Напротив, я даже готов утверждать, что всякая мысль и есть такое существо... Не случайно отец юфрау Евы высказал такое суждение: «Он... предтеча... *единственный* человек, не ставший призраком».

– Может быть, мой отец считал предтечей того, кто достиг бессмертия? Вы не согласны?

Сефарди покачал головой.

– Если кому-то удастся достичь бессмертия, он пресу-

ществляется в непреходящую мысль. А каким образом она входит в наше сознание – как слово или как образ, – не имеет значения. Если живущие на земле люди не способны понять или «сконструировать» ее, она из-за этого еще не умирает, а просто обходит их стороной... Возвращаясь к нашему с бароном диспуту о Боге, я хотел бы повторить: будучи евреем, я не могу отступить от Бога своих предков. Иудейская вера – в основе своей религия добровольно избранной и намеренной слабости, упование на Бога и на пришествие Мессии. Я знаю, есть и путь силы. Барон Пфайль намекнул на это. Но цель-то одна. В обоих случаях она будет по-настоящему познана лишь в конце пути. Ни тот ни другой путь нельзя признать ложным. Путь будет гибельным только тогда, когда человек слабый или, подобно мне, изнывающий от томления, выберет стезю силы, а сильный – тропу слабости. Во времена Моисея, когда правила жизни определялись лишь десятью заповедями, было сравнительно легко жить совершенным праведником, коего называют Цадик Томим. Нынче же это невозможно, о чем знает всякий благочестивый иудей, который старается неукоснительно следовать бесчисленным ритуальным предписаниям. Теперь только с Божьей помощью можем мы, евреи, осилить наш путь. Надо быть глупцом, чтобы сетовать на это, ибо путь слабости стал ровнее и легче, а потому яснее видна и стезя силы: ведь всякий, кто познал себя, уже не будет блуждать в чуждых пределах... Сильным религия более не нужна, они шагают лег-

ко, не опираясь на посох. Те, кто насыщается только едой и питьем, также не нуждаются в религии. Она *еще* не востребована ими. Не нужен им и посох, ибо они не идут, а топчутся на месте.

– Вам не приходилось слышать, господин доктор, о путях овладения мыслью? – спросил Хаубериссер. – Я имею в виду не тривиальный самоконтроль, а, попросту говоря, обуздание чувственных порывов и тому подобное. Мой вопрос подсказан найденным мною своеобразным дневником, о котором я давеча рассказывал Пфайлю.

Сефарди вздрогнул. Казалось, он ждал и боялся упоминания о дневнике. Доктор бросил быстрый взгляд на Еву.

На его лице вновь проступило выражение какой-то глубинной боли, которое Пфайль замечал уже не раз.

Он тут же взял себя в руки, но нельзя было не почувствовать, каких сил стоило ему возобновить прерванный монолог.

– Обретение власти над мыслью – древний языческий путь к сверхчеловеческому могуществу, но вовсе не к тому сверхчеловеку, о котором писал немецкий философ Ницше... Я мало что знаю об этих вещах. Мне страшно думать о них. В последние десятилетия восточные ветры занесли в Европу кое-какие идеи о «мостах жизни», так называют эту весьма опасную дорожку сами проповедники. Но, к счастью, сюда дошли столь скудные сведения, что человек, не посвященный в основы сего учения, не сможет разобраться, что к

чему. Но и этой малости оказалось достаточно, чтобы тысячи легковверных, особенно англичан и американцев, просто ополоумели в стремлении познать тайны магии... Да, иного слова тут не подберешь. Появились горы сомнительной литературы и где-то откопанных темных заклинаний, оживились аферисты всех мастей, напустившие на себя вид посвященных. Но кто слышит звон, пока, слава Богу, не знает, где он... Толпы новообращенных паломников устремились в Индию и в Тибет, не ведая, что там давно истлели угольки тайны. Об этом и слышать не хотят... Может, им и удастся найти на Востоке какой-то отзвук, некое сходство в названиях, но это же совсем не то, и в конце концов они лишь снова вернутся на путь слабости, который я уже упоминал, или заморочат себе голову, как случилось с Клинкербогком... Есть несколько подлинных древних рукописей, внушающих впечатление правдивости, но ключа к ним не прилагается, а их авторы позаботились о непроницаемой стене для защиты мистерии от профанов... У евреев тоже был когда-то «мост жизни». Отрывочные сведения, которыми я располагаю, восходят к XI веку. Один из моих предков, некий Соломон Габироль Сефарди, чье жизнеописание выпало из нашей родовой хроники, высказался на эту тему в туманных заметках на полях своей книги «Мегор Хайим»⁴⁸, что имело для него роковые последствия – смерть от руки какого-то араба. Говорят,

⁴⁸ *Мегор Хайим* – «Источник жизни», сочинение еврейского религиозного поэта Габироля Соломона Бен-Иегуды (1020 – 1070).

на Ближнем Востоке есть маленькая община, члены которой носят голубые одежды и как ни странно ведут свое происхождение от выходцев из Европы – учеников старопрежних розенкрейцеров⁴⁹, но они свято хранят свою тайну. Каждый из них – «парада», то есть «доплывший до другого берега»...

Сефарди прервался, словно переводя дыхание перед пассажем, который требовал невероятного напряжения сил.

Он стиснул кулаки и молча смотрел в пол.

Наконец он решился и, устремив свой взгляд сначала на Еву, а затем на Хаубериссера, глухо произнес:

– Если кому-то удастся перейти «мост жизни», это будет спасением всего мира. Быть может, это даже больше, чем явление Мессии... Но есть одно необходимое условие: человеку не достичь этой цели в одиночку, *ему нужна... спутница...* Одолеть путь можно лишь соединенными силами мужчины и женщины. В этом – тайный смысл брака, утраченный человечеством за тысячи лет.

Ему стало трудно говорить, он встал и подошел к окну, чтобы никто не видел его лица, и, только постояв там какое-то время, мог с внешним спокойствием завершить свою мысль:

– *Если моя ничтожная осведомленность в этой области может хоть как-нибудь послужить вам обоим, располагай-*

⁴⁹ *Розенкрейцеры* – члены тайных религиозно-мистических обществ, особенно распространившихся в XVII – XVIII вв. в Германии, России, Нидерландах и некоторых др. странах. Основателем общества считался легендарный Христиан Розенкрейц, живший в XIV – XV вв.

те мной...

Эти слова были для Евы разорвавшей тьму молнией... Она вдруг поняла, что творилось в его душе... На глаза навернулись слезы. Так значит, Сефарди с обостренной пронизательностью человека, прожившего всю жизнь затворником, провидел те линии судьбы, которые свяжут ее с Хаубериссером. Но что подвигло его подстегнуть только зарождавшееся взаимное чувство, хотя оно и казалось им обоим уже неодолимым? Почему он почти бесцеремонно подтолкнул их к решению?

Если бы Сефарди хоть раз в жизни дал повод усомниться в благородстве своей натуры, она сочла бы его поступок изощренным приемом ревнивого воздыхателя, который хорошо рассчитанным ударом пытается разорвать нежные волокна не ему назначенных уз. А может быть, это – героический шаг безнадежно влюбленного человека, который, не чувствуя себя достаточно сильным, чтобы вынести медленную пытку постепенного отчуждения, предпочел убийственную ясность дальнейшей бесплодной борьбе?

И еще ее тревожила смутная догадка о какой-то иной причине его скоропалительного решения, которая, видимо, была как-то связана с тем, что он знал о «мосте жизни». Не случайно же, говоря про это, Сефарди ограничился несколькими, будто отмеренными, фразами...

Ева вспомнила слова Сваммердама о пущенной в галоп

судьбе. Они до сих пор звучали у нее в ушах.

Минувшей ночью, когда она, склонясь над перилами, смотрела на черную воду канала, у нее хватило духа последовать совету старика и вступить в разговор с Богом.

Может быть, то, что открылось ей сегодня, явилось следствием этого решения? У нее холодок пробежал по коже. Неужели так оно и есть? Темный силуэт церкви св. Николая, накренившийся дом со свисающей цепью и человек в лодке, испуганно прятавший свое лицо, – все это мелькнуло в ее сознании, как воспоминание о кошмарном сне.

Хаубериссер молча стоял у стола, нервно листая страницы какой-то книги.

Ева почувствовала: она должна заговорить первой, чтобы нарушить тягостную тишину.

Она подошла к Фортунату, посмотрела ему в глаза и спокойно сказала:

– Слова доктора Сефарди сказаны не для того, чтобы мы дичились друг друга, господин Хаубериссер, они продиктованы самыми дружескими побуждениями. Нам обоим неизвестно, какие виды имеет на нас судьба. Сегодня мы еще вольные птицы (по крайней мере, так чувствую себя я), но, если жизнь распорядится сойтись нашим путям, мы не сможем да и не захотим противиться ей... Я не нахожу ничего натужного и постыдного в том, чтобы принять эту мысль... Завтра рано поутру я возвращаюсь в Антверпен. Я могла бы отложить отъезд, но сейчас нам лучше расстаться на какое-то

время. Мне не хотелось бы мучиться сомнениями и сожалеть о том, что вы или я по воле минутного впечатления связали себя узами, которые потом нельзя будет разорвать без боли... Насколько я знаю со слов барона Пфайля, вы так же одиноки, как и я. Позвольте мне увезти с собой чувство уверенности в том, что теперь я не одна и у меня есть тот, кого я могу назвать другом, с которым мы едины в надежде обрести путь, лежащий за пределами обыденного существования... Ну а мы с вами, доктор, – она с улыбкой посмотрела на Сефарди, – надеюсь, останемся старыми верными друзьями. А как же иначе...

Хаубериссер поцеловал протянутую ему руку.

– Не смею даже просить вас, Ева, – не сердитесь, что называю вас по имени, – чтобы вы не уезжали дальше Амстердама. Моя первая жертва – потерять вас в тот же день, когда я с вами...

– Если вы хотите обрадовать меня первым доказательством вашей дружбы, – прервала его на полуслове Ева, – не говорите больше обо мне. Я знаю: то, что вы хотите сказать, не дань учтивости или заученному этикету, но, прошу вас, не надо. Пусть время рассудит, можем ли мы быть в наших отношениях больше, чем друзьями.

Барон Пфайль, желая незаметно, чтобы не помешать трогательному прощанию, покинуть комнату, поднялся при первых словах Хаубериссера. Но тут он увидел, что Сефарди не может последовать за ним, так как иначе ему пришлось

бы пройти почти впритирку к увлеченной разговором паре. Пфайль направился к столику у стены и взял свежую газету.

Едва он прочитал первые попавшиеся на глаза строки, как у него вырвался возглас изумления и ужаса.

ВИНОВНИК ЗЛОДЕЯНИЯ ЗАДЕРЖАН

Вдогонку сообщению, напечатанному в нашем утреннем выпуске, можем добавить следующее.

Перед самым рассветом некто Сваммердам, самодеятельный ученый, проживающий на Зейдейк, поднялся к им самим же по невыясненным причинам запертой двери чердачной комнаты Клинкербогга и с удивлением обнаружил, что дверь приоткрыта, а на полу – обгаренный кровью труп девочки Катье. Сам сапожник Ансельм Клинкербогг исчез бесследно, равно как и немалая сумма денег, которая, по словам Сваммердама, еще вечером была на месте.

Подозрение полиции первоначально пало на приказчика, который служит в том же доме. Некая свидетельница утверждает, что молодой человек в потемках возился с ключом у двери в мансарду. Он был немедленно взят под стражу, но вскоре отпущен, так как тем временем явился с повинной истинный преступник. Есть основания предполагать, что сначала был убит сапожник, а затем та же участь постигла его малолетнюю внучку, по всем версиям, разбуженную шумом. Труп старика, скорее

всего, был выброшен через окно в воду канала. Откачка воды куда не принесла никаких результатов, так как грунт в этом месте представляет собой трясины многометровой глубины.

Не исключается, что убийца действовал в сумеречном состоянии, во всяком случае показания, которые он дал комиссару полиции, чрезвычайно сбивчивы и невразумительны. В похищении денег он признался. Стало быть, налицо убийство с целью ограбления. Деньги (называется сумма в несколько тысяч гульденов) будто бы перепали сапожнику от щедрот одного известного на весь город мота... Печальная мораль предупреждает нас о том, какие ужасные последствия часто имеют подобные благотворительные причуды...

Пфайль бросил газету на стол и понурил голову.

– Кто же убийца? – допытывалась Ева. – Не иначе, как этот ужасный негр?

– Убийца? – Пфайль перевернул страницу. – Вот, извольте: *«В совершенном злодеянии признался старый еврей, выходящий из России по имени Айдоггер, торгующий спиртными напитками в том же доме. Не пора ли решительно покончить с разгулом, который на Зейдейк...»* ну и так далее.

– Симон Крестоносец? – Ева ушам своим не верила. – Никто не убедит меня в том, что он мог замыслить такое гнусное преступление.

– Даже в сумеречном состоянии, – согласился доктор Сефарди.

– Так вы думаете, это был приказчик Иезекииль?

– Это столь же маловероятно. В худшем случае он пытался отмычкой открыть дверь в каморку, чтобы взять деньги. Но ему помешали... Убийцей был негр. Тут двух мнений быть не может.

– Но помилуйте, как объяснить, что вину взял на себя Лазарь Айдоттер?

Доктор Сефарди пожал плечами.

– Не исключено, что, увидев полицию, он с перепугу подумал, будто сапожника убил Сваммердам, и ради его спасения решил принести себя в жертву... Такой вот истерический порыв. То, что он не в себе, я понял с первого взгляда. Помните, юфрау Ева, что говорил знаток бабочек про силу, таящуюся в имени. У Айдоттера было время самоотжествиться со своим духовным именем, и, возможно, он вбил себе в голову, что должен ради кого-то пожертвовать собой, принять на себя чей-то крест. Кроме того, я даже думаю, что сапожник Клинкербогк до того, как погиб сам, в безумном религиозном экстазе убил девочку. За многие годы он свикся с именем Аврам, это всем известно. Но если бы он затвердил, что его зовут Авраамом, едва ли произошло бы то, что мыс – лилось им как заклятие Исаака.

– Никак не могу взять в толк, – сказал Хаубериссер. – Неужели слово, сколь бы ни перекачивал его человек в сво-

ем сознании, может определять или изменять его судьбу?

– Почему бы и нет? Нити, управляющие поступками, очень тонки. То, что сказано в Первой книге Моисея о том, как Господь нарек Аврама Авраамом⁵⁰, а Сару – Саррой, имеет связь с каббалой или с древнейшими мистериями. У меня есть некоторые основания сомневаться в правильности исповедуемого Клинкербогом и его общиной принципа произнесения тайного имени... Как вы, вероятно, знаете, каждой букве еврейского алфавита соответствует определенное число. Скажем, С – это 21, М – 13, Н – 14. Следовательно, мы можем выразить имя в числах, а исходя из их соотношения, мысленно построить геометрические тела – куб, пирамиду и так далее. Эти геометрические формы могут стать своего рода арматурой для образного наполнения нашего доселе аморфного, размытого внутреннего мира, если мы правильно сориентируем воображение и приложим необходимые мыслительные усилия. Тем самым мы сделаем «душу» – другого слова не подберу – некой пластической структурой, и она будет причастна сфере соответствующих вечных законов. Между прочим, египтяне представляли себе совершенную душу в виде шара.

– Что же, по-вашему, мог напутать сапожник в обращении с именем, если он действительно убил свою внучку? Так ли

⁵⁰ Согласно библейскому преданию, когда Бог нарек Аврама Авраамом, он обещал столетнему старцу многочисленное потомство – тем самым исключалась смерть его единственного сына, ибо Господь сказал Аврааму: «... в Исааке наречется тебе семя» (Быт. 21: 12; Евр. 11: 18).

уж велика разница между Аврамом и Авраамом?

– Клинкербогк *сам* назвал себя Аврамом. Это имя всплыло из глубин его подсознания. Отсюда и роковые последствия! Это не было внушением свыше – «нешама», как мы, евреи, называем метафизическое дыхание Бога. В случае с Клинкербогком это проявилось как отсутствие одного слога – произносимого с придыханием «а». В Библии ангел Господень отводит руку Авраама, занесенную над жертвенником с Исааком. Аврам же был бы обречен стать убийцей, как это случилось с Клинкербогком. Он сам накликал свою смерть своим неутолимим желанием вечной жизни... Напомню еще раз, что слабый не должен идти путем силы. Клинкербогк свернул с тропы слабых, с назначенного ему пути ожидания.

– Но какова же участь бедного Айдоттера?! – воскликнула Ева. – Неужели мы останемся лишь бездеятельными свидетелями его осуждения?

– Так быстро приговоры не выносятся, – успокоил ее Сефарди. – Завтра утром я пойду к судебному психиатру Дебруверу, которого знаю с университетских времен, – и поговорю с ним.

– А еще не забудьте проведать старого энтомолога и, если не трудно, напишите мне в Антверпен, как он и что с ним, – попросила Ева, протянув на прощание руку Пфайлю и Сефарди. – Ну а теперь до свидания, даст Бог, скорого.

Хаубериссер догадался, что она хочет, чтобы он проводил ее, и помог надеть ей принесенный слугой плащ.

Они шли по парку. Прохладный вечерний воздух влажным флером окутывал цветущие липы. В сумраке увитых листвой аркад белел мрамор греческих статуй, дремавших под говор фонтанных струй, которые играли серебряными искрами в лучах дуговых ламп, размещенных вдоль фасада.

– Можно ли мне хоть иногда навещать вас в Антверпене, Ева? – с трудом набравшись смелости, спросил Хаубериссер. – Вы предлагаете мне жить ожиданием до тех пор, пока нас не соединит время. Но разве могут письма заменить встречи? Ведь мы оба воспринимаем жизнь иначе, нежели люди из толпы. Зачем же возводить между нами стену?

– А вы уверены в том, что мы созданы друг для друга? – сказала Ева, глядя куда-то в сторону. – Когда двое живут одной жизнью, казалось бы, сбывается прекрасная мечта. Почему же тогда так часто, почти всегда она оборачивается неприязнью и горечью?... Мне не раз приходила мысль о том, насколько неестественно состояние мужчины, приковавшего себя к женщине. Он напоминает мне птицу со сломанными крыльями... Вы уж позвольте мне договорить. Я знаю, что вы хотите сказать...

– Нет, Ева, – не дослушав, горячо возразил Хаубериссер. – Вы ошибаетесь. Я знаю, вы боитесь, что я заговорю о... Вы не хотите слышать о моих чувствах к вам, а поэтому не буду об этом... Слова Сефарди, из каких бы честных побуждений они ни были сказаны и как бы искренно я сам ни надеялся

на подтверждение их правоты, все же – и я чувствую это с мучительной ясностью – встали непреодолимой преградой между нами. Если мы не напряжем свои силы, чтобы сломать ее, она так и будет разделять нас. И однако в душе я даже рад, что все случилось так, а не иначе... О браке из рациональных соображений мы оба даже не помышляем, а вот чего нам следует опасаться, – вы извините, Ева, что я злоупотребляю местоимением «мы», – так это любви, сведенной к страсти. Доктор Сефарди был прав, когда говорил об утрате смысла супружества...

– Но ведь как раз это и мучит меня! Я чувствую свое полное бессилие и неумение противостоять прожорливому мерзкому чудовищу, каким мне видится жизнь. Все затерто, опоганено грязным жиром пошлости. Каждое слово, повторяемое изо дня в день, обесцвечено въевшейся пылью. Я кажусь себе ребенком, который идет в театр в надежде увидеть сказочный мир, а попадает в дешевый балаган, где кривляются фигляры с размалеванными физиономиями. Брак низведен до казенной организации из двух человек, которая душит живое чувство и заставляет мужчину и женщину служить идолу целесообразности. Это медленное, неотвратимое погружение в песок житейской пустыни... Уж лучше быть бабочками-однодневками. – Она остановилась и впи-лась глазами в мерцающую чашу фонтана, над которой, подобно фантастической вуали, трепетали золотистые облачка мотыльков. – Люди годами, как черви, ползут по своим пыль-

ным тропам, готовясь к свадьбе как к священному празднику жизни, чтобы, отпраздновав свое за один день, начать подготовку к смерти.

Ева замолчала, ее била дрожь. По ее потемневшим глазам Фортунат видел, насколько глубоко она взволнована. Он взял ее ладонь и приник к ней губами.

Какое-то время они стояли, не шелохнувшись. Потом она обвила голову Фортуната руками и поцеловала его.

– Когда ты станешь моей? Жизнь так коротка, Ева.

Она не ответила. И, не проронив больше ни слова, они вышли к решетке ворот, у которых Еву ждал экипаж барона Пфайля, чтобы отвезти ее в город.

Хаубериссер хотел повторить свой вопрос в последний миг прощания, но Ева опередила его.

– Меня неодолимо тянет к тебе, – тихо сказала Ева, прижимаясь к нему, – это как тяга к смерти. Я буду твоей, ни на минуту не сомневаюсь в этом. Но то, что *люди* называют браком, не наш удел.

Едва ли до него дошел смысл этих слов, он был оглушен счастьем согреть ее в своих объятиях. Потом ему передана ее дрожь, он почувствовал, как у него вздыбились волосы, и тут обоих овеяло каким-то ледяным дыханием, словно их осенил своими крыльями ангел смерти, и вот он подхватил их, чтобы, оторвав от земли, унести в елисейские поля вечного блаженства.

Когда оцепенение прошло, стало угасать и это странное

блаженное ощущение последнего мига, овладевшее всем его существом. И теперь, глядя вслед карете, отнявшей у него Еву, Фортунат чувствовал лишь, как изнывает душа, как мучительно не хватает уверенности в том, что они встретятся ВНОВЬ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ева собиралась поутру заглянуть в монастырь бегинок и как-то утешить свою скорбящую тетушку, госпожу Буриньон, а затем дневным экспрессом отправиться в Антверпен. Но ожидавшее ее в отеле письмо, написанное второпях и запечатлевшее помимо каракулей следы обильных слез, заставило ее переменить свое решение.

Трагедия на Зейдейк, видимо, совсем надломила старушку, она писала, что поклялась себе не выходить за порог монастыря, куда не утихнет в душе жгучая боль и не вернуться силы, чтобы не отвращать взор, как она выразилась, от мирской суеты. Последняя фраза завершалась причитанием и недвусмысленным намеком: невыносимые мигрени не дают ей возможности принимать у себя каких-либо гостей. Тем самым развеивались первоначальные опасения относительно душевного здоровья пожилой дамы.

Ева распорядилась немедленно доставить багаж на вокзал. Портье посоветовал ей воспользоваться поездом, отправлявшимся в Бельгию около полуночи, поскольку в нем обычно не так много пассажиров.

Ева старалась не думать о теткинском письме и поскорее забыть вызванное им тягостное чувство. Но это было непросто.

Так вот они какие, бури в стакане женского сердца! Она-то боялась, что «Габриэла» не переживет удара. И что же?

Бедняжка отделилась головной болью!

«Нам, женщинам, не дано ощущения великого, – с горечью признавалась себе Ева. – Мы извели это чувство вместе с пряжей за уютным вязанием еще во времена наших бабушек. – Она, как испуганная девочка, обхватила голову руками. – Неужели и я когда-нибудь стану такой же? До чего жалок, позорно жалок удел быть женщиной...»

Облако нежности, которое обволакивало ее по дороге от Хилверсюма до самого дома, как будто наплыло вновь. Ей показалось, что комнату наполняет пьянящий аромат цветущих лип.

Ева порывисто поднялась, вышла на балкон и обвела взглядом усеянный звездами ночной небосклон.

Когда-то, в детские годы, ее порой грела и утешала мысль о том, что там, в заоблачной выси, царит на троне Создатель всего сущего, который милосердно взирает на такую крошку, как она. Теперь же ей мучительно стыдно было ощущать себя этакой птичкой-невеличкой.

В ней вызывали глубочайшую неприязнь потуги женщин быть на всех поприщах жизни вровень с мужчинами. Но и невозможность даровать тому, кого она любила, что-то, кроме своей красоты, унижала и печалила ее: красота ей самой дарована природой, и нечего носиться с ней как с писаной торбой.

Слова Сефарди о некой потаенной тропе для избранных, на которой женщина может значить для мужчины нечто

большее, чем источник радостей земных, были проблеском надежды. Но где искать эту тропу?

Она робко пыталась порыться в собственных мыслях, силась понять, что должна сделать для обретения именно такого пути, но вскоре почувствовала, что все ее усилия оборачиваются напрасным жалобным лепетом, взывающим к высшим силам о ниспослании света, тогда как озарения надо добиваться в упорной борьбе, как это умеют делать мужчины.

Нежная печаль, переходившая в самую глубокую боль, какая только может тревожить сердце молодой женщины, неотступно сопутствовала мысли о том, что она стоит перед любимым с пустыми руками, мечтая о том, чтобы подарить ему целый мир.

Ради него она с ликованием пошла бы на самую великую жертву. Тонкий женский инстинкт говорил ей, что высшее выражение преданности любимому – самопожертвование, но всякие жертвы несоизмеримы с ее огромной любовью, а потому – ничтожны, приземленны и наивны.

Повиноваться ему во всем, избавить его от всех забот и по глазам угадывать всякое его желание – куда как просто. Но разве это сделает его счастливым? Все это в человеческих силах, а то, чем она мечтала одарить его, еще даже не придумано людьми.

Раньше она скорее догадывалась, что человек может так страдать от бессилия своей внутренней силы, теперь это стало ей мучительно ясно. Что за наказание – быть безмерно

богатой и щедрой в готовности дарить и последней нищей в своих возможностях сделать это? Ощущение непреодолимого разлада вселяло в нее ужас, какой, должно быть, до самой смерти сопровождал святых великомучеников, осмеянных и оплеванных толпой.

Она в отчаянии прижалась лбом к холодным перилам и, стиснув воспаленные губы, в немом крике взмолилась о том, чтобы пусть самый малый из тех, кто ради любви покинул сей мир, пришел бы на помощь и указал тропу к сокровенной короне жизни и чтобы эту корону она могла отдать в дар.

И тут будто чья-то рука коснулась ее головы. Ева подняла глаза и увидела, что небо вдруг преобразилось.

Оно было расколото трещиной, из которой сочился бледный, как сукровица, свет, и звезды сыпались в нее, словно гонимые сильным ветром рои мерцающих мотыльков-однодневок. И вдруг она стала глубока, и показалась просторная зала с длинным столом, за которым сидели седовласые старцы в величавых, ниспадающих складками одеждах. И взоры сидевших были устремлены на Еву, будто все ждали, когда она заговорит. И у старшего над ними было лицо такого чекана, словно он принадлежал к иной расе, чем все остальные. Меж бровей горел огненный знак, а у висков, подобно рогам Моисея, выростали два ослепительных луча.

Ева догадалась, что должна дать какой-то обет, но не могла найти слов. Она порывалась молить старцев, чтобы они выслушали ее просьбу, но мольба не произносилась, она кло-

котала в горле и не могла выйти из уст. Края трещины начали медленно сходиться, и по небу вновь пролег Млечный Путь, а зала и трон становились все тусклее и прозрачнее, как и рубец, рассекавший небо.

Был виден лишь старец с пылающим знаком на челе.

В немом отчаянии Ева простерла к нему руки, умоляя подождать и выслушать, но он не смотрел на нее.

И тут она увидела всадника на белом коне, он взлетел с земли и помчался по небу, и этим всадником был Сваммердам.

Он спрыгнул с коня, подошел к старцу, что-то крикнул и в гневе схватил его за край одежды на груди. Затем повелительно указал рукой вниз, на Еву.

Она поняла, что это значит. Сердце громовым раскатом отозвалось на библейские слова: «Царство Небесное силою берется»⁵¹. И порыв к мольбе истаял, словно тень в полуденном солнце, и она, как учил Сваммердам о вечном праве самовластия над собой, с торжеством победительницы натянула удила судьбы и пустила ее вскачь к высшей цели, какой только может достичь женщина, – с беспощадной решимостью, не слушая ропота собственных уст в минуты слабости. Только вперед, обгоняя время! Мимо всех соблазнов житейских радостей и благ! Без усталости! Без роздыха! Пусть это тысячи раз будет стоить ей жизни!

Теперь она обречена – ведь огненный знак на лбу старца

⁵¹ Ср.: Мф. 11: 12.

был открыт ей, а когда она ощутила в себе силы повелевать судьбой, он вспыхнул с ослепительной яркостью, словно выжигая все ее мысли, но вопреки этому сердце ее ликовало: она будет жить, ибо видела весь лик. Ее самое сотрясала та неимоверная сила, что высвободилась в ней и опрокинула стены ее неволи. Она чувствовала, как земля заходила под ногами и как тускнеет сознание, но губы беспрестанно твердили все то же самозаклинание, и оно звучало вновь и вновь, даже когда от лика на небе не осталось и следа.

И лишь постепенно она стала сознавать место и время своего сиюминутного пребывания. Она сообразила, что собиралась на вокзал, вспомнила, как отправила чемоданы, и ее взгляд упал на письмо тетки, она взяла его со стола и разорвала в клочки. Все, что она делала, совершалось с той же естественной машинальностью, что и прежде, и все же она почувствовала в своих движениях нечто новое, будто ее руки, глаза и все тело были всего лишь инструментом и утратили нерасторжимую связь с ее «я». Было такое ощущение, что, находясь в привычном окружении, она живет еще и какой-то второй, нездешней и еще не вполне раскрывшейся жизнью где-то на другом конце вселенной. Наверное, это похоже на предшествующее пробуждению состояние новорожденного младенца.

Вещи в комнате, казалось, по существу уже мало чем отличаются от частей ее тела – и то и другое служило теперь чьей-то воле, и не более. О вечере в парке она вспоминала

со щемящей нежностью, как о счастливых годах детства, но теперь это отступило в невероятную даль, казалось чем-то маленьким и хрупким в предощущении неизъяснимого блаженства, которое ждет ее в будущем. Сейчас она могла понять душевное состояние слепого, не знавшего в своей жизни ничего, кроме нескончаемой ночи, и вдруг озаренного светом надежды, в котором меркли все мыслимые радости: когда-нибудь, пусть не скоро, пусть после стольких мук, но неминуемо пробьет час прозрения.

Она пыталась уяснить для себя, только ли эта зияющая пропасть между пережитым несколько минут назад и картиной обыденной, земной жизни вдруг так умалила в ее глазах окружающий мир? И Ева поняла: все, что в данный момент доступно ее пяти чувствам, проплывает сквозь нее как сон, и, будь он радостным или страшным, смысла в нем не больше, чем в посредственной пьесе.

Проходя мимо зеркала, она увидела, что даже в лице ее появилось нечто до странности незнакомое, и ей понадобится некоторое время, чтобы узнать самое себя.

Во всех ее действиях не было ни малейшей суеты, наоборот, ею владел какой-то мертвящий покой. Она заглянула в будущее, как в толщу непроницаемой тьмы, и при этом чувствовала поразительную бестревожность, подобно человеку, который бросил якорь своей жизни и спокойно ожидает грядущего утра, даже не думая об угрозе ночного шторма.

Она понимала, что надо собираться в дорогу, но в то же

время медлила: слишком внятно было предчувствие, что ей уже никогда не увидеть Антверпена.

Она взялась за перо, чтобы написать письмо любимому, но дальше первой фразы дело не пошло, все валилось из рук при неотвязной мысли о том, что любой шаг, предпринимаемый ею сейчас по собственной воле, напрасная затея и легче остановить пулю в воздухе, чем тягаться с подчинившей ее таинственной силой.

Голос, глухо бубнивший что-то за стеной, в соседнем номере, до сих пор почти не замечаемый ею, внезапно умолк, наступила полная тишина, и у Евы вдруг возникло ощущение глухоты ко всем звукам внешнего мира.

Но им на смену явились другие, доносившиеся как бы изнутри, ей казалось, она слышит властный шепот, постепенно приобретающий гортанную окраску какого-то неведомого дикарского языка. Разумеется, она не понимала ни слова, но по грозно-повелительному тону, заставившему ее вскочить и направиться к двери, она догадалась, что это – приказ, которому нельзя не повиноваться.

Спускаясь по лестнице, она вспомнила, что забыла в номере перчатки, но попытка вернуться была мгновенно остановлена той самой силой, которая казалась ей враждебной и зловещей, но при этом как бы исходившей из глубин ее собственного существа. И Ева, даже не силясь что-либо сообразить, устремилась вперед.

Шагала она быстро и в то же время не особенно поспеша-

ла, не зная, куда свернуть и направиться дальше, однако не сомневаясь в том, что любая дорога приведет к цели.

Она дрожала всем телом и догадывалась, что это – от смертельного страха, но сердце оставалось до странности спокойным; она была как бы непричастна к тревоге, овладевшей ее физическим естеством, словно нервы в ее теле были чужими.

Выйдя на широкую площадь, упиравшуюся в громадный темный куб биржи, она было подумала, что все идет своим чередом, что она на пути к вокзалу, а то, что пережила в последние минуты, – не более чем игра воображения, но тут ее вдруг шатнуло вправо, и она оказалась в коленчатой трубе узких улочек.

Немногочисленные прохожие останавливались, завидев ее, и она чувствовала, что они смотрят ей вслед.

С недоступной ей доселе проницательностью она угадала, что происходит в глубине души каждого из них. Она чувствовала, что иные встревожены, что их мысли полны горячего сочувствия ей, и тем не менее понимала, насколько сокрыто от них самих то, что совершается в их душах. И попытайся она узнать у них, что заставило их оглянуться, они объяснили бы это любопытством или иным схожим мотивом.

Еву удивило, как очевидны могут быть загадочные незримые лучи, связующие людей, позволяющие душам общаться друг с другом без участия телесных оболочек, разговаривать на языке столь тонких колебаний и эмоциональных импуль-

сов, что они не воспринимаются механизмом элементарных пяти чувств...

Люди, подобно хищникам, готовы гнать и душить слабейших, но, как только хоть крохотный просвет прорвет пелену на их глазах, лютые враги превращаются в верных друзей.

Переулки, по которым она шла, становились все безлюднее и мрачнее. Она уже не сомневалась в том, что с ней вот-вот произойдет нечто ужасное. Может быть, ее ждет смерть от руки убийцы, если не удастся стряхнуть с себя чары колдовской силы, гнавшей ее вперед, но она даже не пыталась противиться им. Она безропотно покорялась чужой воле и продолжала свой путь по темному ущелью, словно убаюканная чувством непоколебимой уверенности в том, что, какой бы исход ни грозил ей, он будет лишь шагом, приближающим ее к цели.

Когда по узкому железному мостику она переходила на другой берег канала, в зазоре между островерхими крышами мелькнул силуэт церкви св. Николая, воздевшей к небу обе свои башни, словно два предостерегающих перста, и Ева с облегчением вздохнула: наверняка это Сваммердам, скорбя о гибели Клинкербогга, оберегает ее, Еву, своим заклинанием. Однако враждебные тени, затаившиеся вокруг, развеяли эту надежду. Казалось, сама земля здесь выдыхает смрад черной ненависти как беспощадную неумолимую месть природы всякому, кто осмелился ломать рабские оковы.

Это был первый миг страха после того, как она покинула

комнату. Она задыхалась от ощущения полной беспомощности.

Она хотела было остановиться, но ноги сами несли ее вперед, будто она не могла совладать с собой.

Ева в отчаянии посмотрела на небо, и на нее хлынул поток благодатного утешения, будто все звездное воинство сверкнуло зоркими и грозными глазами всемогущих защитников на ее обидчицу-землю... Она вспомнила старцев, восседавших за столом в небесном зале, тех, кому она вручила свою судьбу, и они были для нее сонмом бессмертных, которым стоило лишь бровью повести, чтобы земля обратилась в прах. И тут ее слух опять наполнили гортанные звуки чужой речи, словно кто-то повелительно кричал в самое ухо, тормоша и подгоняя ее. И она вдруг увидела сквозь тьму покосившийся дом, где был убит Клинкербогк. На перилах у стыка двух каналов неподвижно и пригнув голову сидел какой-то человек. Казалось, он напряженно прислушивался к ее приближавшимся шагам.

Она чувствовала исходившую от него демоническую силу и покорно двинулась навстречу.

Не успев разглядеть его лица, она уже содрогнулась от ледящей кровь догадки, что перед нею тот самый ужасный негр, которого она видела в каморке сапожника.

Из груди рвался крик о помощи, но Ева не издала ни звука, связь между волей и действием будто была перерезана, ее телом управлял кто-то другой. Она чувствовала себя умер-

шей и разлученной с собственным телом и сознавала лишь, что невесомо, как призрак подходит вплотную к черному человеку и останавливается перед ним. Он поднял голову, как бы направив на нее взгляд, но, судя по его закатившимся глазам, можно было подумать, что он спит с открытыми веками.

Ева поняла, что он в оцепенении, словно труп, и что стоит лишь толкнуть его в грудь – он свалится в воду, но ничего не могла поделать, замороженная его колдовством.

Ева понимала, что, как только он проснется, она станет бессильной жертвой в его руках – ей были даны считанные минуты до рокового исхода. По лицу негра пробегала дрожь – проблеск постепенно оживавшего незамутненного сознания.

Она не раз слышала да и читать приходилось о том, что есть женщины, преимущественно блондинки, которые, несмотря на свое визгливое отвращение к неграм, поддались колдовскому притяжению дикой африканской крови, перед чем просто невозможно устоять. Ева никогда не верила в это, а якобы околдованных жертв презирала как примитивных похотливых самок, но теперь с холодным ужасом вынуждена была признать, что и в самом деле существует некая «дикарская» магия... Непроходимая, казалось бы, пропасть между смертельным страхом и чувственным опьянением оказалась пергаментной перегородкой, и достаточно было бы лишь надорвать ее, чтобы женская душа стала игрушкой стихии звериных инстинктов. Чем же еще объяснить всеисилие этого

полузверья-получеловека, на утробный зов которого она как сомнамбула шла к нему в лапы по незнакомым улицам, если не отзывом неких струн ее существа на вопль дикой страсти? А ведь она с гордостью уверяла себя, что свободна от подобных порывов.

И в чем тут дело: в его ли дьявольской власти над всякой белой женщиной или в том, содрогаясь от ужаса, вопрошала себя Ева, что она сама пала так низко, как и не снилось многим другим женщинам, которые даже не услышали бы колдовского повеления и уж тем более не исполнили бы его?

Пути к спасению она уже не видела. Все ее надежды, связанные с любимым человеком и будущим счастьем, ей не вернуть, как не воскресить мертвое тело. То, что она могла унести с собой за порог смерти, казалось ей чем-то бесформенным, смутным и слишком слабым, чтобы дать то, чего она страстно желала... Еве хотелось навсегда отвернуться от земли, но Дух земли⁵² железной хваткой удерживал все, что считал своим. И как его воплощенное могущество перед ней во весь рост предстал спрыгнувший с перил черный гигант. Едва она успела сообразить, что негр вышел из оцепенения, как он схватил ее за руку и рывком притянул к себе.

Она вскрикнула. Крик о помощи заметался между стенами домов, но черная ладонь зажала ей рот, и Ева почувствовала, что задыхается.

⁵² *Дух земли* – символ таинственных неумолимых сил природы в «Фаусте» И. В. Гёте.

Голая шея зулуса была окольцована темно-красным ремнем, похожим на ошейник меделянского пса, и Ева, нащупав это кольцо, судорожно вцепилась в него, чтобы не рухнуть на землю. Ей удалось на миг освободить из тисков голову. Напрягая все силы, она еще раз крикнула, взывая о помощи. Должно быть, ее услышали: где-то звякнула стеклянная дверь, загомонили чьи-то голоса, и широкий луч света полоснул мостовую.

И тут она поняла, что негр подхватил ее своими ручищами и, словно взлетев в мощном прыжке, понесся к темной громаде церкви св. Николая. Два чилийских матроса с оранжевыми поясными шарфами на бедрах бросились вдогонку и уже настигали негра. Она видела сверкающие ножи в их руках и даже разглядела мужественные, отливающие бронзой лица.

Ева инстинктивно тянула вниз ошейник и болтала ногами, чтобы помешать бегу своего похитителя, но тот, казалось, не чувствовал никакого груза, он лишь подбросил ее повыше и помчался вдоль стены церковного сада.

Ее лицо было в нескольких сантиметрах от толстых, раздвинутых в оскале губ, а дикий блеск глаз, белеющих, словно сквозь прорези на черной маске, выдержать было уже не под силу, и, загипнотизированная им, Ева утратила способность к сопротивлению.

Один из матросов не только настиг цель, но и встал на пути. Сжавшись в упругий комок, он метнулся под ноги негру,

чтобы свалить его наземь, но зулус нанес ему молниеносный удар, двинув коленом в лоб. Даже не успев вскрикнуть, чилиец с разmozженным черепом рухнул на камни.

И Ева вдруг тоже почувствовала удар о землю, от которого на теле не остается живого места. Негр перекинул ее через решетчатые ворота сада, на чугунных завитках повисли ключья ее плаща, а сквозь прутья она видела, как неф бьется со вторым противником. Это длилось всего несколько секунд, через какой-то миг матрос был подброшен высоко в воздух и пушечным ядром вломился в окно дома на той стороне улицы, послышались звон разбитого стекла и хруст проломленного переплета.

Дрожа от невероятной слабости, Ева кое-как отцепила края порванной одежды от прутьев решетки и попыталась найти путь к спасению, но из узкого пространства сада не выводила ни одна лазейка.

Как затравленный зверь, она забилась под какую-то скамью, хотя и сознавала, что и здесь гибель неизбежна: ее белое платье было слишком заметно в этом темном углу.

Непослушными пальцами, скорее по наитию, так как думать уже не было сил, она стала ощупывать ворот в поисках булавки, чтобы вонзить ее в сердце: негр уже перемахнул через ограду, а она решила не даваться ему в руки живой.

Немым отчаянным криком молила она Бога оборвать ее жизнь до того мгновения, когда мучитель вновь найдет свою жертву.

Это было последним из впечатлений, удержанных памятью, а потом Еве вдруг показалось, что она сходит с ума: посреди сада она увидела свое зеркальное изображение, там стояла ее точная копия, светясь спокойной улыбкой.

Зулус тоже, по-видимому, заметил ее – он в недоумении замер, а затем быстро приблизился к ней.

Между ним и призраком как будто произошел какой-то разговор. Ева не могла разобрать слов, но поняла, что голос негра звучит как-то странно. Это был лепет человека, повергнутого в шок неизъяснимым ужасом.

Убежденная в том, что ей это только мерещится – после пережитого кошмара немудрено повредиться рассудком, – Ева упорно вглядывалась в разыгравшуюся перед ней фантастическую сцену.

Потом ее осенило: ведь это она сама, а никакая не копия, стоит посреди сада, а негр непостижимым образом покорился ее власти. Но эта счастливая уверенность продержалась какие-то секунды, и Ева опять в отчаянии потянулась к вороту, чтобы найти избавительную булавку.

Она изо всех сил старалась сосредоточиться – ведь можно же отличить бред от яви! И Ева неотрывно смотрела на фантома, пораженная тем, что он постепенно исчезает, будто втягиваемый ее вниманием, его тело переходит в нее, возвращаясь к ней, как некая магическая оболочка ее самой, и тем быстрее, чем напряженнее Ева вглядывается в него сквозь тьму.

Она могла вбирать его в себя и выдыхать как воздух, но, как только он удалялся, у нее волосы вставали дыбом, будто ее охватывало ледяное дыхание смерти.

На негра исчезновение призрака не произвело никакого впечатления. Не замечая, как пустота заполняется образом, который вновь стирается, он словно во сне продолжал что-то глухо бормотать.

Ева догадалась, что он снова впал в состояние прострации, в котором она застала его на перилах канала.

Все еще дрожа от страха, она рискнула выйти из своего укрытия.

Она слышала голоса, доносившиеся с улицы, в окнах домов за стеной сада отражались огоньки переносных фонарей, а тени деревьев на церковной стене преображались в пантомиму привидений.

Она считала удары своего сердца. Сейчас, с минуты на минуту, люди, разыскивающие злодея, будут совсем рядом! Ева, как можно быстрее, как только позволяли ватные ноги, постаралась проскользнуть мимо погруженного в забытье негра, подбежала к решетчатым воротам и что было сил закричала, моля о помощи.

Угасающее сознание еще успело запечатлеть женщину в короткой красной юбке, сочувственно склонившуюся над самым лицом и оросившую его водой.

Пестрый сброд каких-то полуголых головорезов с факелами в руках и ножами в зубах умело штурмовал стену – целая

рать диковинных проворных бесов, казалось, вылезла из-под земли, чтобы прийти Еве на помощь. Сад залило ярким, как при пожаре, светом, от которого жмурились святые на витражных окнах церкви. Оглушительная беспорядочная пальба испанской брани: «Вот он, ниггер проклятый! Сажай его на нож! Кишки из него вон!»

Ева увидела, если ей это не чудилось, как, воя и захлебываясь от ярости, матросы набрасывались на зулуса, как летели наземь от сокрушительных ударов его кулаков. Она содрогнулась, услышав его победный клич, подобный рыку вырвавшегося на волю тигра, когда негр, разметав нападающих и проложив себе дорогу в рядах неприятеля, вскочил на дерево, и ему хватило нескольких гигантских прыжков, чтобы, отталкиваясь от выступов и карнизов, взлететь на крышу церкви.

В первые секунды после того, как Ева стала приходить в себя, ей показалось, что какой-то старик с повязкой на лбу склонился над ней и произнес ее имя... «Уж не Лазарь ли Айidotтер?» – подумала она. Но это лицо вдруг стало прозрачным, как стеклянная маска, за которой чернела физиономия негра с белыми глазами и раздвинутыми в оскале мясистыми губами, как это врезалось ей в память, когда он уносил свою добычу. Но тут вновь в ее сознание вторглись, терзая его, бесовские исчадия горячечного воображения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После ужина с доктором Сефарди и бароном Пфайлем Хаубериссер провел еще около часа в их компании, но был настолько поглощен какой-то своей думой, что почти не принимал участия в беседе.

Ева настолько завладела его мыслями, что он вздрагивал от неожиданности, когда вопросы или реплики адресовались ему.

Амстердамское одиночество, столь благотворное для него до сих пор, при мысли о будущем виделось ему сущим наказанием.

Кроме Пфайля и Сефарди, к которым он, с первых минут общения с ними, проникся искренней симпатией, у него не было здесь ни друзей, ни знакомых, а связи с родиной давно оборвались... Неужели и теперь, когда он встретил Еву, впереди все та же затворническая жизнь?

Не перебраться ли в Антверпен, чтобы, по крайней мере, дышать одним воздухом с ней, если уж она не желает их совместной жизни? И тогда, Бог даст, можно будет хоть изредка видеть ее.

У него сердце сжималось от боли, стоило только вспомнить, как холодно она изрекла свой приговор, постановивший положиться на волю времени или какого-то случая, а уж тогда и решать, возможен ли прочный союз. Но мгнове-

ния тягостной грусти вновь сменялись минутами упоительного счастья, когда на губах словно оживали ее поцелуи и все отступало перед мыслью о том, что уже ничто не может разлучить его с Евой.

Ведь только от него зависит, продлится ли их временная разлука дольше нескольких дней.

Что мешает ему уже на следующей неделе повидать ее и упросить не расставаться впредь? Насколько ему известно, она совершенно свободна в своих решениях и может сделать свой выбор, никого не спросясь.

Но каким бы ясным и ровным ни рисовался ему предстоящий путь при учете всех обстоятельств, его надежды вновь и вновь неотступно подтачивало чувство смутного страха за Еву, впервые кольнувшего Фортуната в момент прощания с ней.

Ему так хотелось видеть будущее в радужных красках, но, увы, его доводила до отчаяния тщетность судорожных попыток заглушить неумолимое «нет», звучащее в стуке его сердца как окрик судьбы, когда он заставлял себя думать, что все будет хорошо.

Душевный опыт убеждал: никакое чудо не поможет прекратить навязчивые сигналы странного и как будто ни на чем не основанного предощущения беды, если уж они однажды дали о себе знать. Но он пытался унять эти голоса и посмотреть на вещи иначе: скорее всего, эти тревоги – естественное сопутствие влюбленности. Тем не менее он не знал, как

дожить до того часа, когда станет известно, что Ева благополучно прибыла в Антверпен.

На станции Весперпоорт, которая находилась ближе к старому городу, чем Центральный вокзал, он вышел вместе с Сефарди и, проводив его до Хееренхрахта, поспешил к отелю, где остановилась Ева. При расставании Пфайль с улыбкой, словно читая мысли друга, вручил ему букет роз, и Фортунат собирался оставить его у портье с указанием адресата.

Юфрау Дрейсен только что выехала, гласил ответ портье, но, если очень поторопиться, ее, наверное, еще можно увидеть до отхода поезда.

Хаубериссер вскочил в авто и вскоре уже был на вокзале. Томительное ожидание. Шли минуты, но Ева все не появлялась.

Он позвонил в отель... Нет, она не возвращалась. Надо справиться в багажном зале... За чемоданами никто не приходил... У Фортуната земля качнулась под ногами.

Только теперь, когда страх за Еву буквально убивал его, он понял, как неодолима его любовь и что значит любить человека, без которого нельзя жить.

Последняя преграда между ними – ощущение, может быть, скороспелости их взаимного порыва: ведь они были так неожиданно и ненадолго сведены судьбой – окончательно рухнула и забылась в пароксизме тревоги, охватившей его. Если бы Ева сейчас появилась перед ним, он бы без колебаний заключил ее в свои объятия, покрыл поцелуями и

больше никогда не отпускал бы от себя.

Надеяться на ее появление в последний момент уже не приходилось, и все-таки он дождался отхода поезда.

С ней что-то случилось, теперь это было очевидно. Он заставил себя успокоиться.

Какой путь к вокзалу она могла выбрать? Нельзя терять ни минуты. Сейчас нужен (если, конечно, уже не произошло самое худшее) холодный, скрупулезный анализ всех имеющихся данных, что всегда вознаграждал Фортуната самыми плодотворными идеями в бытность инженером и изобретателем.

Напрягая всю силу воображения, он пытался угледеть потайные пружины и шестерни событий, которые могли вовлечь в свою орбиту Еву, когда она покинула отель. Фортунат даже вызывал в себе то, что называется «чемоданным настроением», то особое эмоциональное состояние, в котором пребывает человек в ожидании долгого пути.

Итак, она заранее отправила багаж на вокзал, а не поехала вместе с ним на заказанном в отеле авто. Логично предположить, что по дороге она собиралась к кому-то зайти.

Но к кому? Да еще в столь поздний час?

И тут Фортунат вспомнил, как настоятельно она просила Сефарди не забывать Сваммердама.

Старик-энтомолог жил на Зейдейк, а это чуть ли не очаг преступности, как явствовало из газетного сообщения о совершенном там убийстве... Ну конечно! Она могла напра-

виться только туда.

Хаубериссер похолодел при мысли о том, чем грозила молодой женщине перспектива столкнуться с портовым сбродом.

Он кое-что слышал о притонах, где чужаков обирают до нитки, а потом концы в воду – трупы сбрасывают через люк прямо в канал. У него волосы встали дыбом, когда он связал это с возможной участью Евы.

Через несколько минут автомобиль уже мчался по Опенхавенбрюке, но, переехав мост, затормозил возле церкви св. Николая.

– Дальше нельзя, по этим узким улочкам машине проехать, – объяснил шофер. – Придется господину зайти в трактир «У принца Оранского», – он указал на светящиеся окна, – может, хозяин даст адресок.

Дверь вертепа была распахнута. Хаубериссер решительно переступил порог. Внутри не было никого, кроме мужчины за стойкой, взгляд которого не предвещал ничего хорошего. Где-то бешено, как перед дракой, орали.

– Господин Сваммердам проживают на пятом этаже, – соизволил сообщить хозяин, получив чаевые, и с крайней неохотой осветил фонарем ступени какой-то костоломной лестницы.

– Нет, юфрау ван Дрейсен с тех пор у нас не бывала, – покачивая головой, сказал старый энтомолог, когда Хаубе-

риссер в нескольких торопливых фразах объяснил ему причины своего беспокойства. Старик еще не ложился и был, как говорится, застегнут на все пуговицы. Но единственная, почти догоревшая сальная свеча на столе и скорбный вид Сваммердама свидетельствовали о том, что он провел долгие часы, оплакивая в душе ужасную кончину своего друга Клинкербогга.

Хаубериссер схватил его руку.

– Простите, господин Сваммердам, что я нагрянул к вам посреди ночи, как бы невзирая на ваше горе... Да, я знаю, какую утрату вы понесли... – Фортунат прервался, заметив удивление на лице старика. – Я знаю даже некоторые подробности. Доктор Сефарди изложил мне их сегодня. Если вы не будете против, мы позднее можем обстоятельно поговорить об этом. Но сейчас я просто с ума схожу из-за страха за Еву. Не исключено, что она собиралась проведать вас, а по пути на нее напали и... и... Господи, ведь это вполне вероятно!

Он сорвался с кресла и начал как заведенный ходить из угла в угол.

Сваммердам задумчиво молчал и спустя какое-то время, словно очнувшись, произнес:

– Прошу вас, не сочтите мои слова пустым утешением, менейр. Поверьте мне, юфрау ван Дрейсен жива!

Хаубериссер резко обернулся.

– Откуда вы это знаете? – дрогнувшим голосом спросил он, хотя спокойный, уверенный тон старика каким-то чудо-

действенным образом окрылил его, будто камень с души свалился.

После долгой паузы Сваммердам вполголоса ответил:

– Иначе я бы увидел ее.

Хаубериссер опять стиснул его руку.

– Заклинаю вас, помогите, если это в ваших силах! Я знаю, вы всю жизнь шли путем веры. Должно быть, ваш взгляд проникает глубже, чем мой. Человек посторонний часто видит...

– Я не настолько посторонний, как вы думаете, менейр, – прервал Сваммердам, – юфрау я видел лишь раз в жизни, но, если я скажу, что люблю ее всем сердцем, как родную внучку, это не будет преувеличением. – Он протестующе взмахнул рукой. – Не надо меня благодарить, пока еще не на чем. Я сделаю все, что в моих слабых силах – иначе и быть не может – чтобы помочь ей и вам, даже если при этом прольется моя старая, отслужившая кровь... А теперь спокойно выслушайте меня. Вы не ошиблись в своей догадке: с юфрау ван Дрейсен случилось какое-то несчастье. К тетке она не заходила, я узнал это от своей сестры, которая только что побывала в монастыре бегинок. Не могу с уверенностью сказать, сумеем ли мы помочь ей уже сегодня, то бишь удастся ли нам найти ее, но в любом случае нельзя упускать ни единой возможности. Но, прошу вас, не горюйте, даже если наши поиски окажутся безуспешными. Мне ясно как белый день: есть некто, в сравнении с кем мы оба беспомощные младенцы, и Он осеня-

ет ее своей десницей. Не хотелось бы говорить загадками... Надеюсь, придет время и я смогу объяснить вам, почему я так уверен, что Ева последовала одному моему совету... И то, что случилось сегодня, возможно, уже первое следствие этого шага. Мой друг Клинкербогк избрал когда-то путь, подобный тому, что начала Ева. Я-то Давно каким-то глубинным зрением предвидел конец, хотя всегда цеплялся за соломинку надежды, что можно отворотить этот путь страстными молитвами. Минувшая ночь подтвердила то, что я и так знал, хотя по слабости не следовал на деле этому знанию: молитва – всего лишь средство пробуждения дремлющих в нас сил. Вера в то, что молитвы могут изменить волю Бога, – не более чем глупость. Люди, вверившие свою судьбу духу, сошедшему на них самих, подвластны закону духовному. Они достигли совершеннолетия, они вышли из-под опеки земли и станут когда-нибудь ее господами. Что бы ни случилось с ними во внешнем мире, все означает лишь вежу на пути вперед и все оборачивается благом. Именно такова участь юфрау Евы, не сомневайтесь в этом, менейр. Однако не так просто призвать дух, который бы правил нашей судьбой. Это дано только воистину зрелому, чей голос услышит Он. И это должен быть голос любви, призыв во благо зрелого человека. Иначе мы разбудим в себе силы тьмы.

Иудеи-каббалисты находят тому подтверждение в словах: «Есть некие существа, исчадья беспросветного царства Об, они уловляют бескрылые молитвы». При этом имеются в ви-

ду не демоны *вне* нас, ибо от таких мы защищены оплотом нашего тела, но магические яды *внутри* нас. И стоит их раздражить, как они начнут разъедать человеческое «я».

– Но Ева! – взволнованно воскликнул Хаубериссер. – Неужели она пошла тем же гибельным путем, что и Клинкербогк?

– Нет! Вы уже позвольте мне договорить до конца... У меня бы язык не повернулся дать ей столь опасный совет, если бы я не почувствовал тогда присутствие Того, о ком было сказано, что в сравнении с Ним мы оба – беспомощные младенцы. За свою долгую жизнь, перетерпев муки несказанные, я научился отличать Его голос от заклинательного шепотка человеческих желаний... Она подвергла себя опасности, но опасность заключалась лишь в том, что свой призыв она, должно быть, огласила невовремя, в *неподходящий* момент, но эта единственная опасность, слава Богу, уже миновала. Ее голос был услышан. – Сваммердам радостно улыбнулся. – Не далее чем несколько часов назад! Быть может... не считите за хвастовство, но подобные вещи случались со мной в минуты глубочайшего самопогружения... быть может, я уже сумел помочь ей. – Он направился к двери, приглашая гостя последовать за ним. – Однако давайте пока сделаем то, что подсказывает нам здравый смысл. Только исчерпав все возможности, предоставляемые земной властью, мы будем вправе ожидать помощи духовных сил. Сейчас мы спустимся в трактир, надо будет отсыпать немного денег

матросам с тем, чтобы они занялись поисками Евы, а тому, кто ее найдет и доставит целой и невредимой, назначить особое вознаграждение. Вот увидите, они ради нее не пощадят живота своего, если на то пошло. На самом деле эти люди гораздо лучше, чем о них думают. Просто они заблудились в первобытных дебрях собственных душ и в своем полудиком состоянии напоминают свирепых зверей. Но в каждом есть толика истинного героизма, чего не скажешь о многих благонамеренных обывателях. Да, он проявляется в диких выходках, ибо они не ведают, какая сила движет ими... Они не боятся смерти, а смельчак не может быть раз навсегда заклеен как плохой человек. Самый верный признак бессмертия в человеке – его презрение к смерти.

Они спустились в кабак. В зальчике было полно народу. Посередине, на полу, лежал труп чилийского матроса с разможенным черепом – того самого, которого ударом колена убил убежавший зулус.

Ответ хозяина, у которого Сваммердам попытался разузнать подробности, был немногословен и уклончив: драка как драка, в гавани так махаются чуть не каждый день...

– Это все ниггер! Будь он неладен! Образина черномазая!... – заголосила Антье, но тут же была остановлена тумакон под ребра и хозяйским вразумлением:

– Не знаешь – не хрюкай! Это ж был черный кочегар с бразильского судна. Теперь ясно?

Хаубериссер отвел в сторонку одного из бродяг, сунул ему

в ладонь монету и приступил к расспросам. Вскоре их окружила живописная толпа страшил, которые, темпераментно жестикулируя, принялись спорить о том, каким способом спустить с негра три шкуры, но в одном пункте были единодушны: все они считали, что тут поработал *иноземный* кочегар. Грозный взгляд хозяина заставлял их придерживать языки, а его рокочущее покашливание давало понять, что о подробностях, которые навели бы на след зулуса, и заикаться не могли. Они знали, что он и пальцем не пошевелит, если у них зачешутся руки прирезать дорогого завсегдатая, но им было также известно, какие кары ждут того, кто погрешит против священных законов портового трактира, – не дуть в чужие уши про то, что творится в родных стенах.

Хаубериссер изнемогал от нетерпения, наблюдая весь этот кураж, пока не услышал слова, при которых у него бешено забилося сердце: Антье что-то вякнула про благородную молодую даму, подвергшуюся нападению какого-то негра.

Ему пришлось опереться на Сваммердама, чтобы удержаться на ногах. Все содержимое своего кошелька он высыпал в ладони толстухи и, не в силах вымолвить ни слова, знаками потребовал рассказать о происшедшем.

Тут все загалдели, вспоминая о том, как услышали женский крик и как бросились поглядеть на заварушку.

– Она у меня на коленях была, в беспомощности лежала! – пронзительно восклицала Антье.

– Но где же она? Где она сейчас? – допытывался Хаубе-

риссер.

Матросы умолкли и растерянно переглянулись: и в самом деле где? Никто не знал, где теперь Ева.

– Вот на этих коленях лежала! – продолжала его уверять Антье, но по ней было видно, что и она не имеет понятия, куда могла подеваться молодая дама. И тут в сопровождении буйной кабацкой братии Хаубериссер и Сваммердам устремились наружу и начали обшаривать окрестные улицы и закоулки, выкрикивая имя пропавшей и освещая фонарями каждый угол церковного сада.

– Он был там, наверху, негритос-то! – приговаривала Антье. – А вот тут, на плитах, я ее и оставила, когда все кинулись за ним, а потом мы понесли в дом убитого, и я про нее забыла.

Пришлось разбудить жителей ближайших домов. Возможно, Ева укрылась в одном из них. Распахивались окна, раздавались голоса встревоженных обывателей. Но никаких следов пропавшей обнаружить не удавалось.

Сам не свой от усталости и отчаяния, Хаубериссер обещал всякому, кто оказывался поблизости, любое вознаграждение за какие-либо сведения о местонахождении Евы.

Напрасно Сваммердам пытался успокоить его: мысль о том, что после всего пережитого, может быть, даже в состоянии безумия, Ева могла покончить с собой и броситься в воду канала, делала Фортуната почти невменяемым. Матросы, успевшие в своих поисках добежать до набережной Принца

Хендрика, возвращались ни с чем.

Вскоре зашевелились все обитатели портового квартала. Над водой замелькали огоньки фонарей – полуодетые рыбаки на своих лодках осматривали поверхность и каменные берега и обещали с рассветом пошарить сетями в устьях каналов.

У Хаубериссера то и дело замирало сердце: не огорошит ли без умолку повторявшая свой рассказ кельнерша страшным известием о том, что негр изнасиловал Еву. Этот вопрос каленым железом жег ему грудь, и все же он долго не решался задать его.

Наконец он превозмог себя и, запинаясь, объяснил, что хочет от нее услышать.

Бродяги, которые до сих пор наперебой утешали его и клялись порвать на куски черномазого, попадись он им в руки, тут же замолчали, кто-то деликатно отводил глаза, кто-то делал вид, что закашлялся.

Антье тихо всхлипывала.

Несмотря на то что ее жизненная колея пролежала по непролазной грязи, толстуха не утратила женской сердобольной отзывчивости к чужому горю. Только Сваммердам оставался спокоен и невозмутим.

Выражение непоколебимой уверенности на его лице и мягкая улыбка, с какой он терпеливо выслушивал громкие ахи по поводу того, что Ева якобы могла утонуть, постепенно приободрили Фортуната, и в конце концов он поддал-

ся уговорам старика вместе с ним двинуться в сторону дома.

– Теперь вам надо спокойно прилечь, – советовал Сваммердам, когда они дошли до квартиры, – и уснуть, не унося с собой ни одной тревоги. Мы можем ожидать от души, освобожденной от докучливых жалоб тела, гораздо большего, чем могут вообразить себе люди... Предоставьте мне участие во внешней стороне событий, я заявлю в полицию, чтобы немедленно занялись поиском вашей невесты. И хотя отнюдь не обольщаюсь на сей счет, надо испробовать все средства, предлагаемые здравым рассудком.

Еще по дороге он старался осторожно переключить внимание Хаубериссера на какую-то иную тему, далекую от событий последнего дня, и молодой человек обронил среди прочего несколько слов о найденном дома свитке и о своих планах заняться изучением нового для него предмета, хотя теперь это придется, видимо, надолго отложить, если вообще не выкинуть из головы.

Сваммердам решил вернуться к этому разговору, когда заметил на лице Фортуната выражение прежнего отчаяния. Он взял его за руку и долго ее не выпускал.

– Я хочу и, мне кажется, могу передать вам долю той уверенности, которая позволяет мне надеяться на лучшее. Если вы хоть в какой-то мере проникнитесь ею, то поймете, чего хочет от вас и ждет судьба, а в остальном я могу помочь вам лишь советами. Вы готовы им следовать?

– Безусловно. Можете не сомневаться в этом, – произнес

Хаубериссер с неожиданным волнением: ему вспомнились слова Евы в Хилверсюме о том, что живое чувство веры открывает Сваммердаму путь к высшим материям. – От вас исходит такая сила, что мне порой кажется, будто я защищен от бурь сенью тысячелетнего дерева. Каждое ваше слово укрепляет меня.

– Я хочу рассказать вам об одном, казалось бы незначительном, происшествии, в котором, однако, я позднее увидел некий указующий перст. Я был тогда сравнительно молод, и в моей жизни началась полоса столь безнадежного и жестокого разочарования, что я света невзвидел и чувствовал себя мучеником ада. И уж совсем пав духом, когда судьба, подобно палачу, добивает тебя своими бессмысленными ударами, я стал случайным свидетелем одной сцены – на моих глазах дрессировали лошадь.

Ее заарканили длинным ремнем и, не давая ни секунды покоя, гоняли по кругу. Но как только впереди возникал барьер, через который она должна была перепрыгнуть, лошадь бросалась в сторону или вставала на дыбы. На спину градом и не один час сыпались удары бича, но она все не могла сделать прыжок. При этом мучитель ее вовсе не был злым человеком и по нему было видно, как страдает он сам от жестокости, которую требует его ремесло. У него было доброе, приветливое лицо, и, когда я высказал ему свое возмущение, он ответил: «Да я бы заработка не пожалел, чтобы каждый день баловать эту клячу сахаром, только бы она поняла, че-

го от нее хотят. И уж сколько раз пытался взять ее лаской да сахаром, но все впустую. Как будто в нее черт вселился и не дает мозгой шевельнуть. А ведь чего проще – прыг, и готово». Я видел смертельный страх в обезумевших глазах лошади, когда она приближалась к барьеру, и всякий раз они вылезали из орбит, и я читал в них: «Вот-вот меня опять ожгут бичом...»

Я ломал голову, соображая, как поступить, чтобы несчастное животное поняло, что от него требуется. И после напрасных попыток внушить ей что-либо безмолвным заклинанием, а потом и подтолкнуть к прыжку словами, я с горечью вынужден был признать, что лишь мучительная боль, только она есть учитель, который, в конечном счете, достигает своей цели, и тут меня озарило: ведь я и сам веду себя, как эта лошадь. Судьба стегает меня, а в голове лишь одна мысль: как тяжело я страдаю. Я ненавижу незримую силу, истязавшую меня, но мне было еще невдомек, что все это совершается для того, чтобы подвигнуть к какому-то свершению меня самого, может быть – к преодолению духовного барьера.

Этот маленький эпизод стал вехой на моем пути. Я учился любить те невидимые силы, которые настегивали и гнали меня вперед, ибо я чувствовал, они не пожалели бы «сахару», если бы это помогло перенести меня через низшие ступени бренного человеческого бытия и возвысить до какого-то нового состояния...

Я понимаю, что выбранный мною пример отнюдь не без-

упречен, – с долей самоиронии продолжал Сваммердам, – ведь он не дает ответа на вопрос: действительно ли лошадь поднялась бы на ступень выше, научись она прыгать через барьер, или же лучше оставить ее в состоянии изначальной дикости? Но на этом, наверное, нет нужды останавливаться особо... Для меня важно другое: если раньше я жил мрачной иллюзией, видя в своих страданиях некую кару и до воспаления мозгов силился понять, чем заслужил ее, то затем до меня вдруг дошел смысл жестоких уроков судьбы, и, хотя зачастую я не мог объяснить себе, что за барьер мне предстоит взять, я тем не менее был уже понятливой лошастью. И в какой-то миг я понял глубинный смысл библейских слов об отпущении грехов: вместе с идеей кары само собой отменяется и понятие вины, и тогда грозный, как в детских сказках, образ некоего мстительного божества, облагороженный новым смыслом и не закованный в причудливую форму, предстал благотворной силой, которая стремится лишь вразумить меня, как человек поучает лошадь.

Часто – о как часто! – рассказывал я свою маленькую притчу другим людям, но никогда зерна этого опыта не попадали на благодатную почву. Те, кто прислушивался к моим советам, полагали, что им не составит труда угадать, чего требует от них незримый «дрессировщик», но, поскольку удары судьбы не прекращались в мгновение ока, люди сворачивали на старую колею и с ропотом или «покорностью», если удавалось обмануть себя ожидаемой наградой за так на-

зываемое смирение, продолжали тащить свой крест дальше. Куда плодотворнее путь человека, который хоть иногда способен угадывать, чего от него хотят те, из мира нездешнего, или, лучше сказать, какова воля того «великого, кто сокрыт внутри нас». Такой человек уже на середине пути. *Желание* угадывать уже означает полное преобразование картины жизни, *умение* угадывать – плод этого посева.

Но до чего нелегок путь учения! Вначале, отваживаясь на первые попытки, мы выглядим как оторванные от матери слепые котята, а наши действия напоминают выходки сумасшедших, и долгое время в них не обнаружить никакой логики. И лишь постепенно в хаосе прорисовывается некий лик, по выражению которого мы учимся читать волю судьбы, хотя поначалу он строит нам гримасы.

Но ведь так вершатся все великие дела: всякое открытие, всякая новая мысль появляется на свет с некой странной гримасой. Первая модель самолета долгое время пугала нас своей драконьей физиономией, прежде чем он обрел, так сказать, естественное лицо.

– Вы хотели посоветовать мне что-то определенное? – не без робости спросил Хаубериссер. Он догадывался, что старик затянул свое предисловие с целью психологической подготовки, опасаясь, что иначе его совет, которому сам он, несомненно, придавал большое значение, не будет должным образом оценен, а стало быть, не пригодится.

– Разумеется, менейр. Но сперва я должен был заложить

фундамент, чтобы не слишком огорошить вас своим советом, больше похожим на призыв оборвать, а не продолжить то, к чему вас сейчас так неодолимо влечет. Я понимаю – и это кажется естественным человеческим порывом, – сейчас вами владеет лишь одно желание: найти Еву. Но есть еще и некая обязанность. Вы должны обрести ту магическую силу, которая явит свое могущество в будущем, если с вашей невестой, не дай Бог, опять случится какое-нибудь несчастье. Не вышло бы так, что вы найдете ее, чтобы потерять вновь. Люди обретают друг друга, а смерть разлучает их.

Вы должны найти ее, но не так, как находят потерянную вещь, вы должны обрести Еву совершенно новым, особым путем. По дороге сюда вы говорили мне, что ваша жизнь все больше напоминает поток, который, того и гляди, будет поглощен песком. Каждый человек когда-либо подходит к этому рубежу, пусть даже он – за пределами какой-то одной его жизни. Я знаю... Это – такая смерть, которая стирает внутренний мир, но щадит тело. Однако именно этот момент дороже всего, ибо может привести к победе над смертью. Дух земли безошибочно чувствует угрозу, наступил миг, когда человек может одолеть его, а потому надо расставить коварнейшие ловушки... Задайте себе вопрос, что могло бы произойти, если бы вы в этот момент нашли Еву? Если у вас хватит мужества посмотреть правде в лицо, вы скажете себе: река вашей жизни и жизни вашей невесты пробьет себе русло, но потом неотвратимо уйдет в песок серых будней. Вы

же сами рассказывали мне, что Еву страшат брачные узы... И воля судьбы – уберечь ее от этого, вот почему случай так неожиданно свел и тут же разлучил вас. В любые другие времена – только не в нынешние, когда почти все человечество оказалось перед разверзшейся пустотой, – то, что произошло с вами, могло бы означать всего лишь ехидную гримасу жизни. Но сегодня, как мне кажется, это исключено.

Я не знаю, что написано в свитке, столь странным образом попавшем вам в руки, но горячо и настоятельно советую: предоставьте всем внешним событиям идти своим чередом и постарайтесь найти в поучениях неизвестного то, что необходимо вам. Все остальное образуется. Даже если вопреки вашим ожиданиям из этих записей на вас глянет лишь лукавая физиономия, не обещающая ничего, кроме подвоха, а учение окажется лжеучением, вы все равно найдете в нем то, что наведет на истину.

Кто умеет искать, того не обмануть. Нет такой лжи, в которой не таилась бы правда. Важно, чтобы ищущий сам был на твердом берегу истины... – Сваммердам на прощание протянул Фортунату руку. – И как раз сегодня вы стоите на нем. Вы можете смело соприкоснуться с грозными силами, которые обычно доводят человека до умопомрачения. Ведь отныне вами движет любовь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Возвратясь из Хилверсюма, Сефарди поутру направился к судебному психиатру доктору Дебруверу, чтобы узнать подробности дела Лазаря Айidotтера.

Он не мог представить себе старого еврея в качестве убийцы и счел своим долгом вступить за единоверца, тем более что доктор Дебрувер даже в среде коллег, не слишком искусных эскулапов человеческих душ, слыл совсем уж бездарным и подозрительно скорым на выводы экспертом.

И хотя Сефарди всего лишь раз видел Айidotтера, тот будил в нем искреннее сочувствие.

Еврей из России входил в эзотерический круг христианских мистиков, уже одно это обстоятельство позволяло предположить, что он был каббалистом хасидского толка, а все, связанное с этой странной сектой иудаизма, в высшей степени интересовало Сефарди.

Он не ошибся – судебный психиатр и тут попал пальцем в небо. Не успел Сефарди рта раскрыть, чтобы высказать свое убеждение в невиновности старика и объяснить его признание истерическим самооговором, как доктор Дебрувер, который даже внешне – солидная окладистая борода и «добрый, но пронизательный» взгляд – производил впечатление имитирующего ученость позера и пустобреха, зычно изрек: – Никаких аномалий не выявлено. И хотя я исследую по-

дозреваемого только со вчерашнего дня, можно с уверенностью говорить об отсутствии всяких признаков патологии.

– Стало быть, вы считаете немощного старика громилой и убийцей, а его признание безупречным доказательством? – сухо спросил Сефарди.

Глаза врача изобразили какое-то сверхчеловеческое понимание, точно рассчитанным движением он изменил позу, повернувшись к свету так, чтобы сверкание маленьких овальных очков сделало еще импозантнее блеск мысли на его лице, и таинственно приглушенным голосом – ведь даже стены имеют уши – произнес:

– О том, что он убийца, и речи быть не может. Но есть основания полагать его участником заговора!

– Вот как?... Из чего же вы это заключили?

– Кое-что в его показаниях, – прошептал Дебрувер, склонившись к уху собеседника, – совпадает с фактами. Следовательно, они известны ему! Он неспроста выложил их и прикинулся убийцей, чтобы отвести от себя подозрение в укрывательстве, а заодно и выиграть время для бегства своего сообщника.

– Вам уже ясна подробная картина убийства?

– Разумеется. Ее восстановил один из наших талантливейших криминалистов. Сапожник Клинкербогк в приступе... э... *dementia praecox*⁵³, – (Сефарди едва скрыл улыбку), – заколол свою внучку сапожным шилом. А затем, собираясь по-

⁵³ Детское слабоумие (лат.).

кинуть комнату, сам был убит ворвавшимся к нему неустановленным преступником, который выбросил из окна труп убитого в канал, пролегающий вдоль фасада. На воде была обнаружена принадлежавшая покойнику корона из золотой фольги.

– И все это так и описал в своих показаниях Айдогтер?

– В том-то и дело. – Доктор Дебрувер широко улыбнулся. – Когда стало известно о преступлении, свидетели, то есть лица, обнаружившие одну из его жертв, бросились в квартиру Айдогтера, намереваясь разбудить его, но тот, конечно же, лежал без сознания. Чистой воды симуляция. Если бы он действительно не был причастен к содеянному, то как же он узнал, что девочка была не просто убита, а заколота сапожным шилом. Тем не менее он ясно заявил об этом в своих признательных показаниях. Ну а то, что он взял на себя и вину за убийство девочки, имеет весьма прозрачную мотивацию – попытка запутать следствие.

– Каким же образом этот старикашка спланировал свое нападение?

– Уверяет, что взобрался по свисавшей в канал цепи, влез в окно и свернул шею сапожнику, шагнувшему к нему с распростертыми объятиями... Вот такая ахиня.

Сефарди призадумался. Выходит, его первоначальная версия о том, что Айдогтер выдал себя за убийцу, дабы соответствовать воображаемой миссии «Симона Крестonosца», лишена оснований. Допустим, психиатр не врет. Откуда же

Айдоттер мог знать такие детали, как шило? Неужели со стариком сыграл шутку трудно объяснимый феномен бессознательного ясновидения?

Сефарди собрался поделиться своими подозрениями в отношении зулуса как вероятного убийцы, но едва он раскрыл рот, как содрогнулся от какого-то толчка, словно кто-то изнутри ударил его в грудь, заставив мгновенно замолчать. Это было отчетливое, почти осязательное ощущение. Однако Сефарди не придал ему особого значения и только спросил у психиатра, нельзя ли поговорить с Айдоттером.

– Собственно, мне следовало бы отказать вам, поскольку – и это известно судейским – незадолго до криминального события вы были у Сваммердама. Но если для вас это так важно... Принимая во внимание вашу безупречную репутацию в научном мире, – добавил эксперт с неумело скрытой завистью, – я, так уж и быть, превышу свои полномочия.

Он позвонил и велел охраннику проводить Сефарди в камеру.

Сначала он увидел старого еврея через глазок в стене. Тот сидел у зарешеченного окна и смотрел в брызжущее солнечным светом небо.

Услышав шум открываемой двери, старик вяло поднялся. Сефарди быстрыми шагами двинулся навстречу ему и пожал руку.

– Повидать вас, господин Айдоттер, меня побудили

прежде всего чувства единоверца...

– Идинаверца, – почтительно пробормотал Айidotтер, расшаркиваясь.

– К тому же я убежден в том, что вы невиновны.

– Невиновны, – эхом вторил старик.

– Боюсь, вы не доверяете мне, – помолчав в ожидании более подробного ответа, продолжал Сефарди, – на этот счет можете быть спокойны, я пришел к вам как друг.

– Как друг, – механически повторил Айidotтер.

– Неужели вы мне не верите? Это огорчает меня. Старый еврей потер лоб ладонью, словно отходя от сна.

Затем он прижал руку к сердцу и, заикаясь, отдельно и с явным усилием не сбиться на диалект, произнес:

– У меня... нет... никакой враг... откуда ему деться? Если вы говорите как друг, где мне взять хуцпе⁵⁴ сомневаться.

– Вот и славно. Это меня радует. А посему буду говорить с вами откровенно, господин Айidotтер. – Сефарди сел на предложенный ему стул так, чтобы лучше видеть все, что читалось на лице старика. – Я бы хотел расспросить вас о разных вещах, но не из праздного любопытства, поверьте, а для того, чтобы помочь вам выбраться из весьма затруднительного положения.

– Положения, – чуть слышно подтвердил арестованный.

Доктор выдержал паузу, вглядываясь в старческое лицо, оно смотрело неподвижно, словно высеченное из камня, без

⁵⁴ Дерзость, бесстыдство (евр.).

тени какого бы то ни было волнения.

Одного взгляда на глубокие скорбные морщины было достаточно, чтобы понять, сколько страшных бед привелось пережить этому человеку. Но каким странным контрастом на этом фоне казался детский блеск широко раскрытых черных глаз! Сефарди повидал на своем веку русских евреев, но ни один из них не смотрел такими глазами.

В скудно освещенной комнате Свамердама он этого не разглядел. Он ожидал увидеть сектанта, обезумевшего от фанатизма и самоистязания, но перед ним сидел совсем другой человек. Черты лица не отличались ни грубым рисунком, ни отталкивающим выражением хитрости, что в общем свойственно типу русского еврея. В них прежде всего запечатлелась необычайная сила мысли, хотя сейчас она как будто дремала, сраженная жуткой духовной апатией.

У Сефарди в голове не укладывалось, как вообще мог этот человек, в котором безобидность ребенка усугублялась старческой немощью, заниматься торговлей спиртным в квартале со столь определенной репутацией.

– Скажите, – мягким дружеским тоном начал Сефарди свой неформальный допрос, – как вам пришло в голову выдать себя за убийцу Клинкербогга и его внуки? Вы хотели кому-то помочь?

– Кому помочь? Мне помогать некому. Я убил обоих. Я, говорят вам.

Сефарди решил подыграть ему.

– А почему вы убили их?

– Ну... из-за тысячи монетов.

– Где же эти деньги?

– Меня уже спрашивали эти гаоны⁵⁵. – Айдоттер указал большим пальцем в сторону двери. – Я не знаю.

– И вы не раскаиваетесь в содеянном?

– Раскаиваетесь? – старик задумался. – Зачем раскаиваетесь? Тут моей вины нет.

На сей раз задумался Сефарди. Это не ответ сумасшедшего.

– Разумеется, вам не в чем себя винить. Ведь вы ничего не совершали. Вы были в постели и спали. А все происшедшее возникло в вашем воображении. И по цепи вы не взбирались. Это сделал кто-то другой. В ваши годы такое не под силу.

Айдоттер немного помялся.

– Значит, вы думаете, господин доктор, я никакой не убийца?

– Конечно нет. Это же ясно как божий день. Старик с минуту помолчал и совершенно спокойно ответил:

– Ну что ж. Неглупо.

Его лицо не выражало ни радости, ни облегчения. Казалось, он даже не удивился.

Дело принимало еще более загадочный оборот. Если бы в сознании Айдоттера хоть что-то переменялось, это можно было бы заметить по его глазам, которые были все так же

⁵⁵ Мудрец, ученый раввин. Здесь иронически: умник (евр.)

по-детски распахнуты, или по оживлению мимики. Притворством же здесь и не пахло: старик воспринял слова о своей невинности как скучную банальность.

– А вы знаете, что ждало бы вас, – наседал Сефарди, – если бы вы действительно совершили это преступление? Вас бы казнили!

– Гм... Казнили.

– Вот именно. Вас это не страшит?

Но старика было не пронять. Только лицо стало более осмысленным, как бы прояснившимся от какого-то воспоминания. Он пожал плечами и сказал:

– Мне в жизни случалось и что-то пострашнее, господин доктор.

Сефарди ждал продолжения, но Айдоттер вновь погрузился в состояние бесчувственного покоя и не раскрывал рта.

– Вы давно торгуете спиртным?

Ответом было покачивание головой.

– А хорошо ли идет торговля?

– Не знаю.

– Послушайте, при таком равнодушии к своей деловой жизни вы рискуете рано или поздно потерять все.

– Ясное дело. Когда мне это следить?

– А кому же за этим следить, как не вам? А может, об этом заботится ваша жена? Или дети?

– Моя жена давно не в живых... И детки тоже, одинаково.

Сефарди показалось, что он нашупал тропу к сердцу старика.

– Но ведь ваша любовь к ним жива. Вы вспоминаете свою семью? Я не знаю, давно ли вы понесли эти утраты, но ведь жить в таком одиночестве – значит обделять себя счастьем? Видите ли, я тоже один как перст, и тем легче мне войти в ваше положение. Поверьте, я задаю эти вопросы не из научного интереса к такой загадке, которой для меня являетесь вы. – Сефарди как-то забыл о том, ради чего пришел сюда. – Меня волнует это чисто по-человечески...

– Потому что на душе у вас такой сумерк и вы не можете иначе, – к великому изумлению доктора завершил его мысль Айдоттер, который на миг даже преобразился: на безжизненном лице мелькнул проблеск сочувствия и глубокого понимания. Но секунду спустя оно вновь стало похоже на нетронутый лист бумаги. – Человеку найти свою пару более трудно, чем Моисею было сотворить чудо в Красном море, – словно в забытьи пробормотал старик. Доктор вдруг понял, что Айдоттер, пусть и невзначай, ощутил чужую боль, догадался, какая тяжесть гнетет

Сефарди, отчаявшегося добиться взаимности Евы, хотя сам доктор сейчас не думал о ней.

Он вспомнил, что среди хасидов бытует легенда о неких людях, которые время от времени появляются – поначалу их принимают за безумцев, они столь самозабвенно проникаются страданием и радостью ближних, что обретают другую ду-

шу. Сефарди всегда считал это небылицей. Так неужели этот почти невменяемый старик – живое свидетельство реальности невероятного? В таком случае его поведение, его убежденность в том, что он убил Клинкербогга, все его странности предстают в каком-то новом свете.

– Не случилось ли вам, господин Айдоттер, – спросил он, ожидая подтверждения своей догадки, – когда-либо совершить такой поступок, который, как выяснилось позднее, на самом деле совершен кем-то другим?

– Даже не думал про это.

– Не кажется ли вам, что вы чувствуете и думаете иначе, нежели другие люди, к примеру, я или ваш друг Сваммердам? На днях, когда мы познакомились с вами, вы были гораздо общительнее. Эта перемена вызвана потрясшей вас смертью сапожника? – Сефарди с чувством сжал руку старика. – Если вас мучат какие-то заботы или вам нужен отдых, можете вполне довериться мне, я готов сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать вас. Мне кажется, магазин на Зейдейк – совсем не то, что вам нужно. Может быть, мне удастся найти для вас иное, более достойное занятие... Почему вы так противитесь дружбе, которую вам предлагают?

Нельзя было не заметить, что эти слова как-то согрели старика. Его губы дрогнули и вдруг раздвинулись в счастливой детской улыбке. Однако то, что касалось рекомендаций относительно будущего, он, видимо, пропустил мимо ушей.

Он попытался что-то сказать, скорее всего, выразить свою

благодарность, но так и не нашел нужных слов.

– Я тогда... был не такой? – наконец выговорил он.

– Ну конечно. Вы вели обстоятельную беседу со мной и прочими гостями. Вы были как-то живее, что ли. Даже вступили с господином Сваммердамом в диспут о каббале... И я понял, что вы человек, сведущий в религиозных и теологических вопросах... – Сефарди мгновенно умолк, заметив в старике новую перемену.

– Каббала... каббала, – бормотал Айдоттер. – Ну да... каббала... Я изучал. Длинное время. И Библию тоже...

Его мысли явно уходили в далекое прошлое. Но звучали они так, будто он видит их со стороны, подобно человеку, который указывает кому-то на картины, стараясь объяснить их; он высказывал их то медленно, то скороговоркой – в зависимости от того, как долго они удерживались сознанием.

– Но в каббале... про Бога... неверно... В жизненности совсем не так. Тогда... в Одессе я этого еще очень не знал... В Ватикане и Риме имел необходимость переводить Талмуд.

– Вы бывали в Ватикане? – удивился Сефарди. Старик не услышал вопроса.

– ...А потом у меня усохла рука. – Он поднял правую руку. Изуродованные подагрическими узлами пальцы напоминали мертвые корни. – В Одессе православные считали меня шпионом, который якшается с римско-католическими гоями... И вдруг в нашем доме загорелось, но пророк Илия, да будет благословенно имя его, не допустил, чтобы остать-

ся без крыши над головой мне, моей жене Берурье и деткам. Потом Илия пришел к нам, он разделял трапезу за нашим столом после праздника Кущей⁵⁶. Я знал, что он Илия, а жена думала, его зовут Хадир Грюн...

Сефарди вздрогнул. Это имя он слышал вчера в Хилверсюме, когда барон Пфайль пересказывал то, что узнал о приключениях Хаубериссера.

– В общине надо мной насмехались, кому не лень. Айдоттер? Это ж пустой человек. У него голова для шляпы. А не сведали того, что Илия посвятил меня в двойной закон, который Моисей открыл Иисусу, – лицо старика озарилось светом преобразования, – и он переставил в моей душе сокровенные огни макифим⁵⁷... А потом в Одессе начались еврейские погромы. Я подставил свою голову, но удар нашел Берурью, и ее кровь залила пол, когда она хотела защитить деток. Их поубивали как ягненков.

Сефарди вскочил, зажал руками уши и в ужасе уставился на Айдоттера, по лицу которого блуждала улыбка.

– Ривка, старшенькая, кричала, звала меня о помощи, но меня крепко держали, и они облили моего дитя керосином и сожгли.

Айдоттер умолк и начал сосредоточенно рассматривать

⁵⁶ Праздник *Кущей* – один из трех великих иудейских праздников, установлен в память сорокалетнего странствия иудеев из Египта в Землю обетованную.

⁵⁷ *Макифим* – таинство, совершаемое каббалистами для душевного преобразования, приближающего к Богу.

свой лапсердак и выщипывать нитки из разлезшихся швов. Казалось, он все хорошо сознает, но не ощущает никакой боли – спустя какое-то время он спокойным голосом продолжил свой рассказ:

– Когда я опять начинал изучать каббалу, у меня дело не двинулось, ибо свечи макифим были переставлены во мне.

– Что вы имеете в виду? – с дрожью в голосе спросил доктор. – Страшное горе помрачило ваше сознание?

– Не горе. И я не помрачен. У меня что-то такое, как у египтян, про которых рассказывают, будто у них был напиток, отбирающий память. А как же иначе смог бы я выжить? Я долгое время не знал, кто я есть, а потом, когда стал опять знать, мне не было дано то, что нужно человеку для слез, и то, что нужно для моих мыслей... Свечи макифим переставлены. С тех пор у меня, если можно так выразить, сердце в голове, а мозг в груди. Особенно по временам.

– Вы не могли бы объяснить подробнее? – тихо спросил Сефарди. – Если это вам не в тягость. Я не хочу, чтобы вы сочли мой интерес праздным любопытством.

Айдоттер взял его за рукав.

– Смотрите, господин доктор. Я сжимаю сукно. Вам не чувствуется боль? А делаю ли я боль рукаву, кто это знает? Так и у меня. Я понимаю, когда-то случилось то, что должно было делать боль. Я это знаю точно, но не чувствую. Затем, что мое чувство в голове. Я уже не могу сомневаться чужим словам, а в юности, когда был в Одессе, мог. Я уже не могу

все понимать, как раньше. Либо что-то стукнет мне в голову, либо нет. А если стукнет, значит, так оно и есть, и я чувствую это ясно, но не могу различить, где я, а где не я. И даже не пробую размыслить это.

Сефарди начал понемногу догадываться о том, что заставило старика взять на себя вину.

– А ваша повседневная работа? Вы в силах выполнять ее? Айidotтер вновь указал на рукав.

– Платье защищает от воды, когда идет дождь, и от зноя, когда светит солнце. Думаете вы о том или нет, платье делает свое дело. Мое тело заботится торговлей, только я про то уже ничего не знаю, как прежде. Говорил же рабби Симон бен Елеазар: «Видел ли ты, чтобы птица занималась ремеслом? Однако она без устали хлопочет о пропитании». Почему бы и мне не делать такое?... Конечно, если бы макифим не были переставлены, я бы не бросил своего тела, а был бы пригвожден к нему.

Сефарди, внимательно следивший за вполне осмысленной речью, бросил на старика испытующий взгляд и отметил про себя, что он теперь мало чем отличается от нормального русского еврея: Айidotтер всю размахивал руками, и в его голосе появилась даже какая-то напористость. Причем столь различные состояния удивительно плавно переходили друг в друга.

– Конечное дело, своей силой человеку такого не совершить. Тут не помогут ни ученость, ни молитвы и даже ми-

кваот – чудодейственные ванны – не помогут. Если кто-то оттуда, с другой стороны, не переставит свечи, нам это не по плечам.

– И вы полагаете, что вам помог некто «оттуда»?

– Ну да. Я же говорил – пророк Илия. Когда он один раз пришел в нашу комнату, я уже заранее слышал его шаги. Я не мог ошибаться. Я всегда поднимал, что он может быть нашим гостем. Вы знаете, доктор, мы, хасиды, всегда ожидаем его приход. Я даже боялся издрожать всем телом, когда увижу его. Но все было натурально, как будто к нашей двери подошел простой еврей. Мое сердце даже не билось шибче. Только это был он, я не сомневался, как бы ни вглядывался... И чем больше я держал его в глазах, тем лицо его было все знакомее мне, и я понял – *не было в моей жизни ни одной ночи, когда он не являлся бы ко мне во сне.* И когда я стал все дальше отступать в свою память (уж как хотелось узнать, когда я увидел его в самый первый раз), и мелькнула вся молодость, и я увидел себя малым ребенком, а потом, когда забрался еще более глубже, – взрослым мужчиной в прежней жизни, а я и не подозревал, что был таким, а потом – опять ребенком и так без конца, и всякий раз он со мной и всегда в одних летах и одинаковый с моим гостем за столом. Конечно, я не мог оторвать от него моих глаз, не отпустил ни одного его движения. Если бы я знал, что это – Илия, я не заметил бы ничего особенного, но я чувствовал: все, что он делает, забирает глубокий смысл. Потом, когда он во

время беседы сменил местами две свечи на столе, я все понял, я почувствовал, что он *во мне* переставил свечи и я стал другим человеком – мешугге⁵⁸, как говорят в общине... Для ради какой цели он переставил во мне свечи, я понял потом, когда погубили мою семью... А вам интересно знать, доктор, с чего Берурья решила, что его зовут Хадир Грюн?... Она уверяла, что он ей так сказал.

– А позднее вы ни разу не встречали его? – спросил Сефарди. – Вы же говорили, что он объяснил вам меркабу, я имею в виду тайный второй закон Моисея.

– Не встречали?' – повторил вопрос Айдоттер и потер рукой лоб, будто силясь что-то уразуметь. – Как же не встречать? Если уж он однажды был со мной, куда же он мог уйти? Он всегда со мной.

– И вы всегда можете видеть его?

– Я вообще не вижу его.

– Но вы же сказали, что он с вами во всякое время. Как же вас понять?

Айдоттер пожал плечами.

– Умом не понять, господин доктор.

– Но, может быть, вы поясните это каким-то примером? Он говорил с вами, когда наставлял? Или это происходило как-то иначе?

Айдоттер улыбнулся.

– Когда вы радуетесь, радость с вами? Ясное дело. По-дру-

⁵⁸ Сумасшедший, рёхнутый (евр.).

тому и быть не может. *Так* и тут.

Сефарди молчал. Он понял, насколько непостижимо для него мышление старика, – будто между ними пролегла пропасть, через которую невозможно перебросить мост. И хотя многое из того, что он сейчас услышал, совпадало с некоторыми из его собственных мыслей по поводу дальнейшего пути рода человеческого – он разделял и высказывал (хотя бы вчера в Хилверсюме) воззрение, что этот путь лежит в русле религии и веры, – тем не менее теперь, когда он видел перед собой живой тому пример, он был изумлен и даже разочарован столь зримой реальностью. Он вынужден был признать, что Айдоттер, достигший способности не чувствовать боли, стал неизмеримо богаче себе подобных. Сефарди завидовал ему, но все же не хотел бы оказаться на его месте.

Он даже усомнился в истинности своей вчерашней проповеди о стезе слабости и ожидания спасения.

Свою жизнь, позволявшую купаться в роскоши, которой он, однако, не находил применения, он провел одиноко, замкнуто, с головой уйдя в изучение самых разных материй, а теперь с ужасающей ясностью понял, что на многие вещи смотрел слишком поверхностно и упустил нечто самое важное.

Разве был он устремлен душой к Илии, разве жаждал его пришествия, как этот нищий русский еврей? Нет, он лишь воображал, что жаждет, поскольку *знал из книг*, что этой жаждой пробуждается внутренняя жизнь. И вот перед ним

некто из плоти и крови, кому привелось обрести то, чего он жаждал, а он, кладезь книжной премудрости, доктор Сефарди, не хотел бы поменяться с ним ролями.

Устыдившись, Сефарди решил при первой возможности объяснить Хаубериссеру, Еве и барону Пфайлю, что он сам ровным счетом ничего не знает и готов подписаться под изречением полоумного еврейского лавочника, который открыл ему глаза на откровения духа: «Умом не понять, господин доктор».

– Это не иное, как вхождение в царство истинного обилия и богатства, – нарушил молчание Айдоттер, светясь блаженной тихой улыбкой. – А не его схождение до тебя, как я возомнил себе раньше. Всё ложь и фальшь, что думает человек до того, как в нем переставлены свечи, такая ложь, что уму недостижимо. Всякому надеется на приход Илии, а когда он пришел и стал рядом, видишь: это не он пришел, это ты пришел к нему. Думаешь: постою-ка да подожду вместо того, чтобы только бы брать, а не давать. Человек странствует, а Бог не сходит с места... Илия пришел в наш дом, так разве же Берурья узнала его? Она не пошла к нему, значит, и он пришел не к ней, и она подумала: это какой-то чужой еврей по имени Хадир Грюн.

Сефарди взволнованно посмотрел в лучистые детские глаза старика.

– Теперь я очень хорошо понимаю, о чем вы, хотя и не могу так почувствовать это... Я благодарен вам... И мне так

хотелось бы помочь вам... Могу обещать, что добьюсь вашего освобождения. Думаю, не составит труда убедить доктора Дебрувера в том, что никакой вы не убийца. Хотя, конечно, – заметил он скорее для себя, – пока еще не знаю, как объяснить ему этот казус.

– Можно попросить у вас одно одолжение, господин доктор?

– Разумеется! Ради Бога.

– Не говорите ничего этому, на воле. Пусть думает на меня, как я сам на себя думал. Я не хочу быть виноватым за то, что найдут убийцу. Я теперь даже знаю, кто он, который убил моего друга. Только вам скажу: это черный.

– Негр? С чего вы это взяли? – в крайнем недоумении воскликнул Сефарди, на миг усомнившись в том, стоит ли вообще верить старику.

– А вот с чего, – невозмутимо начал растолковывать Ай-доттер. – Когда я в своем сне наяву сливался весь с Иллей, а потом иду полусвой в свою жизнь, спускаюсь в лавку, а там часом что-то случилось, я часто думаю, что это было со мной, что я тут причастный. Если, к примеру, кто-то побил ребенка, я думаю: это я его побил и надо к нему ходить и утешить. Если кто забыл дать пищу собаке, я думаю: это я забыл и надо ходить к ней с пищей. Потом, когда я случайно узнаю, что ошибался, надо опять на минутку целиком взойти к пророку и тот же миг назад к себе, тогда я сразу имею понятие, как было на самом деле. Только я редко делаю та-

кое. Зачем мне? Кроме этого, на полдороге к себе мне становится так, будто я ослеп. Но до того, господин доктор, как вы опустили в большую задумчивость, я все-таки сделал это и увидел ясно, как черную букву в букваре, это был чернокожий, это он убил моего друга Клинкербогга.

– Как? Вы своими глазами *видели*, что это негр?

– А как же? Когда я в духе снова влез по цепи, то на сей раз оглянул себя целиком и увидел, что кожа у меня вся черная, а на шее красный кожаный ремень, ноги босиком, на теле синяя холстина. А когда я оглянул себя изнутри, мне стало четко, что я дикарь.

– Вот это надо наверняка сообщить доктору Дебруверу! – вскакивая с места, крикнул Сефарди. Айidotтер вцепился ему в рукав.

– Вы же меня обещали молчать, господин доктор! Ради пророка Илии не надо больше крови. Не надо мщения. – Безобидное лицо старика вдруг полыхнуло грозным жаром фанатика, сурового пророка. – И потом, убийца – один из наших! Не еврей, как вы сразу себе подумали, – пояснил он, перехватив недоуменный взгляд Сефарди, – но один из наших! Я узнал его, когда смотрел изнутри... Он убил... Несомненно... Кому его судить? Нам? Вам и мне? Сказано: «Мне отмщение»⁵⁹. Он дикарь и имеет свою веру. Упа-

⁵⁹ ...«Мне отмщение»... – Ср.: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: „Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь“». Рим. 12: 19.

си Бог многих от такой ужасной веры, но она искренняя и живая. Это наши люди, наша вера не боится огня Господня. Это – Сваммердам, Клинкербогк и черный тоже. Что есть иудей, что есть христианин, что есть язычник? Имя для тех, которые имеют религию вместо веры. А через это я запрещаю вам говорить то, что теперь знаете про черного... Когда мне суждено принять за него смерть, вы вздумали отнимать у меня такого подарка?

Потрясенный столь неожиданным оборотом дела, Сефарди возвращался домой. Обстоятельства складывались столь странным образом, что доктор Дебрувер оказался, в сущности, не так уж не прав в своем смехотворном утверждении, будто Айдоттер – один из участников заговора и своим признанием пытается выиграть время для бегства настоящего убийцы. В каждом пункте это обвинение обосновано, такова голая логическая схема, и все-таки трудно придумать что-либо более несправедливое и абсурдное.

Только теперь Сефарди с полной ясностью понял слова Айдоттера: «Всё ложь и фальшь, что думает человек до того, как в нем переставлены свечи. Такая ложь, что уму недостижимо. Только бы брать, а не давать. Думаешь: постою-ка да подожду вместо того, чтобы идти да искать».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тянулись дни, а поиски Евы были по-прежнему безрезультатны. Барон Пфайль и доктор Сефарди, получив от Хаубериссера жуткую весть, использовали все мыслимые средства, чтобы найти пропавшую. На каждом углу были расклеены призывы и объявления о розыске, и вскоре страшное происшествие взбудоражило весь город, об этом заговорили и местные, и приезжие.

Квартира Фортуната превратилась в проходной двор, перед домом толпились люди, ручка двери нагрелась от прикосновений бесчисленных посетителей, и каждый норовил отыскать какой-нибудь предмет, который мог бы принадлежать пропавшей, так как за самую незначительную информацию об участии Евы было назначено немалое вознаграждение.

Слухи распространялись со скоростью лесного пожара. Не было недостатка в свидетелях, видевших разыскиваемую даму в разных кварталах города. Поступали анонимные письма с темными, таинственными намеками – сочинения сумасшедших или злопыхателей, бросавших тень подозрения на неповинных людей, которые якобы похитили Еву, увезли или держат ее взаперти. Наперебой предлагали свои услуги карточные гадалки. Откуда ни возьмись, появились новоиспеченные «ясновидцы», похвалявшиеся своим даром, хотя

ничем, кроме нахальства, одарены не были. Стадная душа городского населения, казавшаяся до сих пор беззлобной, раскрылась в своих низменных инстинктах, дала волю алчности, злоязычию, самомнению и изобретательности в клевете.

Продаваемые сведения иногда звучали настолько правдоподобно, что Хаубериссер сбивался с ног, врываясь в сопровождении полицейских в чужие квартиры, где якобы должна находиться Ева.

Он метался от надежды к разочарованию, как мячик в какой-то издевательской игре.

Вскоре в городе не осталось такой улицы и такой площади, куда бы ни приводили Фортуната ложные роковые известия и где он ни обшарил бы снизу доверху один или несколько домов.

Казалось, город мстит Хаубериссеру за прохладное к себе отношение в недавнем прошлом.

Даже во сне у Фортуната рябило в глазах от физиономий «доброхотов», осаждавших его днем и сгоравших от нетерпения сообщить нечто новое, и в конце все они слипались в безликий мутный пузырь, словно наложенные друг на друга дюжины прозрачных фотоотпечатков.

Истинной отрадой в эти безутешные дни были встречи со Сваммердамом, навещавшем его каждое утро. Даже если он приходил, что называется, с пустыми руками и в ответ на вопрос, не удалось ли что-нибудь узнать о Еве, лишь молча ка-

чал головой, все же выражение неколебимой уверенности на лице старика всякий раз давало Фортунату новые силы, чтобы выдержать новую порцию ежедневных хлопот и терзаний.

О дневнике не говорилось ни слова, но Хаубериссер чувствовал, что старый энтомолог приходил прежде всего потому, что его глубоко заинтересовала история со свитком.

Однажды Сваммердаму не удалось сдержаться.

– Неужели вам все еще невдомек, – спросил он, глядя куда-то в сторону, – что на вас набросился рой чужих мыслей, грозя выесть сознание и память? Если бы это были разъяренные осы, которых вы потревожили, вы бы сразу сообразили, что к чему! Отчего же вы не остерегаетесь жал судьбы, как защитили бы себя от осинога роя?

Он неожиданно умолк и вышел.

Устыдившись своей растерянности, Хаубериссер решил взять себя в руки. Он быстро составил текст записки, уведомлявшей о его отъезде и о том, что всю информацию о Еве Дрейсен теперь следует адресовать полиции. Это объявление он поручил домоправительнице повесить у входной двери.

Однако на душе спокойнее не было. То и дело подмывало спуститься вниз и сорвать записку.

Он уже достал свиток, заставляя себя сосредоточиться на нем, но проходило несколько минут, и его мысли опять тянулись к Еве, а когда он пытался приковать их к тексту, они нашептывали: не глупо ли зарываться в ворох отвлеченных, чисто теоретических вопросов, когда каждая минута требует

от тебя действий?

Он уже собирался вновь упрятать бумаги в письменный стол, но вдруг возникло такое ощущение, что он обманут какой-то невидимой силой. Фортунат замер и попытался осмыслить это. Но он скорее вслушивался в себя, нежели размышлял: «Что это за таинственная сила, которая так искусно притворяется безобидной, чтобы скрыть свою непричастность, подстраиваясь под мое собственное „я" и склоняя мою волю к решению, противоположному тому, что я принял всего минуту назад? Я хочу читать, а мне не читается».

Он полистал страницы, но стоило ему споткнуться при попытке вникнуть в содержание, как снова раздавался назойливый голос: «Брось ты это дело. Начала все равно не найдешь. Напрасный труд». Однако Фортунат стоял на страже своей воли и не давал хода этим мыслям. Привычка к самонаблюдению вновь вступала в свои права.

«Найти хотя бы начало», – вновь заскулил в нем лицемерный голосок, когда он механически переворачивал листы, но тут список сам подсказал ответ: «Начало, – прочитал он там, куда случайно упал его взгляд, каким-то чудом выловив именно это слово, – начало есть то, чего недостает человеку.

И преткновение не в том, что его трудно найти, а лишь в мнимой необходимости искать его. Жизнь милостива к нам. Каждое мгновение дарует нам начало. Всякий миг понуждает нас вопрошать себя: „Кто я?" А мы не догадываемся спросить, потому и не находим начала. Если бы человек хоть од-

нажды всерьез задался этим вопросом, зажглись бы первые лучи того дня, закат которого означает смерть для негодных мыслей, вторгшихся в хоромы души и усевшихся прихлебателями за ее пиршественный стол. Коралловый риф, который они с инфузорьим усердием воздвигли за тысячелетия, а мы именуем „нашим телом“, – это их оплот и гнездовье. Нам предстоит сперва проделать брешь в этом наросте из извести и слизи, а затем растворить его в духе, данном изначально, если мы хотим обрести вольный морской простор... Позднее я научу тебя, как из этих обломков рифа построить новый дом».

Хаубериссер в задумчивости выпустил дневник из рук. Его уже не занимал вопрос, могла ли прочитанная страница быть копией или наброском адресованного кому-то письма. Слово «тебе» не оставляло никаких сомнений, он почувствовал такое волнение, будто это было прямое обращение именно к нему и только так надо понимать все, что здесь написано. Но, пожалуй, больше всего его поразила еще одна особенность текста – местами он напоминал живую речь его знакомых: Пфайля, Сефарди, а иногда – Сваммердама. Теперь он понял, что все трое проникнуты духом, веявшим со страниц рукописи, что поток времени, который подхватил как щепку пока еще такого беспомощного, бесконечно уставшего Хаубериссера, чтобы он обрел силу истинного человека, этот поток наделил второй ипостасью трех его знакомых. «А сейчас слушай, прилежно внемля.

Приготовь себя к грядущим временам.

Скоро мировые часы пробьют двенадцать. Эта цифра рдеет на циферблате и окрашена кровью. Так ты ее узнаешь.

Первый новый час предваряет буря.

Крепись и бодрствуй, дабы она не застала тебя спящим, ибо те, чьи глаза при первых лучах наступающего дня будут закрыты, останутся неразумными тварями, какими и были, беспробудными на веки вечные.

Дух тоже имеет свое равноденствие. Первый новый час, о котором я говорю, знаменует поворотный рубеж. В этот час свет равновесен тьме.

Более тысячи лет билось человечество над постижением законов природы и покорением ее, но лишь те, пожалуй, немногие, кто узрел смысл этой работы и понял, что внутренний закон таков же, как и внешний, только октавой выше, призваны пожинать урожай, удел же прочих – вспашка и холопское ярмо, пригнетающее взор к земле.

Ключ к владычеству над природой разъеден ржой со времен всемирного потопа. Имя ему – бодрствование.

Оно открывает все затворы. Ни в чем так твердо не убежден человек, как в яви своего бодрствования, на самом же деле он угодил в тенета, которые сам и связал из грез и химер. Чем гуще эта сеть, тем неодолимее сон, и связанные путами и сморенные сном бредут по жизни, как убойный скот, – покорно, равнодушно и бездумно. Не все они пустоглазы, у иных в глазах сверкают *мечты*, но они видят мир, подерну-

тый рябью мелких ячеек, обманную игру осколков. Они тянут к ним руки, не ведая того, что эти образы – рассыпанный бисер, не имеющий смысла вне великого целого. Эти „мечтатели“ – не фантасты и поэты, как ты, возможно, думаешь. Это – неутомимые трудяги, самые хлопотливые обыватели земли, добровольные жертвы собственной химеры. Они напоминают вечно копошащихся мерзких жучков, которые карабкаются по гладкому стеблю, чтобы с его верхушки сверзиться на землю.

Они мнят себя бодрствующими, но то, что они якобы видят, – всего лишь сон, картина, умело навеянная и неподвластная их воле.

Были и есть еще такие люди, которые даже понимают, что грезят наяву, – это первопроходцы, бойцы передовых отрядов, пробившиеся к бастионам, в этих дерзких натурах сокрыто вечно бодрствующее «Я» – таковы провидцы вроде Гёте, Шопенгауэра и Канта, но у них нет оружия, чтобы *взять* крепость, а их боевой клич не пробуждает спящих.

Бодрствующий открывает все затворы.

И первый шаг к тому так прост, что его может сделать каждый ребенок. Но человек, искалеченный образованием, не может и шагу ступить, ибо не мыслит жизни без костылей, унаследованных от предков.

Бодрствующий открывает все затворы.

Бодрствуй при всяком деле! И не думай, что уже достиг этого. Нет, ты еще спишь и гредишь.

Преобразись, напряги все силы и восчувствуй всей своей плотью и кровью: „Отныне я бодрствую!"

И коль скоро это удастся, состояние, в коем ты только что пребывал, предстанет сонным оцепенением.

Это – первый шаг на долгом-долгом пути от подъяремного прозябания к истинной жизни и всемогуществу.

Так и двигайся шаг за шагом, от пробуждения к пробуждению. И не будет ни одной мучительной мысли, которую ты не смог бы таким усилием прогнать; все, что гнетет тебя, отступит навсегда, ты вознесешься над этой болью, как зеленеющая крона над усохшими сучьями.

Ты стряхнешь с себя все недуги, как пожухлую листву, если и тело твое будет воистину бодрствовать.

Ледяные ванны иудеев и брахманов, ночные бдения учеников Будды и христианских аскетов, самоистязания индийских факиров, лишаящих себя сна, – все это не что иное, как окаменелые обряды, которые вешают пытливому уму: „Здесь, на заре человеческой истории, стоял таинственный храм во имя бодрствования".

Обратись к священным письменам народов земли, все они пронизаны идеей бодрствования. Это – лестница Иакова⁶⁰, того самого, что всю „ночь" боролся с ангелом Господним⁶¹ „до появления зари" и одержал победу.

⁶⁰ *Лестница Иакова.* – Ср.: Быт. 28: 12 – 13.

⁶¹ Из Библии явствует, что Иаков боролся не с ангелом, а с самим Богом. Ср.: Быт. 32: 24.

Так поднимайся же по ступеням все более просветленного бодрствования, если хочешь одолеть смерть, чье оружие – сон, греза и дурман.

Даже низшая ступень этой лестницы именуется «гениальностью» – как же тогда нам нарицать более высокие! Толпе они неведомы или представляются сказочным измышлением. Историю Трои тоже веками считали мифом, покуда не нашелся человек, отважившийся докопаться до истины⁶².

На пути к пробуждению первейшим врагом, что встанет у тебя на пути, окажется твое собственное тело. При первом крике петуха оно будет вступать в борьбу с тобой, но ты увидишь день вечного бодрствования, и он восхитит тебя от лунатиков, которые считают себя людьми и не знают, что они – спящие боги; тогда от тебя отступит сон тела и вселенная будет в твоей власти. И ты сможешь творить чудеса, если захочешь, и тебе не придется жить в смиренном рабском ожидании милости или кары жестокого идола, уповая на его дары и страшаясь его меча.

Спору нет, верному, подобострастному псу не дано большего счастья, чем служить своему хозяину, а такое счастье у тебя будет отнято, но спроси себя: позавидовал бы ты, будучи человеком, каков ты есть хотя бы сейчас, участи своей собаки?

Не давай себя изводить страху из-за того, что в этой жизни тебе, возможно, не удастся достичь цели! Тот, кто однажды

⁶² Имеется в виду немецкий археолог Генрих Шлиман (1822 – 1890).

встал на наш путь, уже не вернется в этот мир, ибо достигнет внутренней зрелости, обретаемой в продолжение своего дела, – он рожден „гением“.

Стезя, на которую я тебе указую, обещает множество чудных откровений: умершие, коих ты знал при жизни, восстанут из праха и заговорят с тобой! Но это – лишь образы! Светозарные фигуры, они предстанут перед тобой во всем сиянии и блаженстве, из их уст ты услышишь благословение... Однако это всего лишь образы, сотканные последним дыханием твоего тела, которое постигнет магическая смерть в согласии с твоей измененной волей и которое из материи вновь превратится в дух, подобно льду, растопленному огнем и творящему при испарении эфирные формы.

Только освободив тело от всякой мертвечины, ты сможешь сказать: отныне сон навсегда отлетел от меня.

Но тогда же свершится чудо, в которое не могут поверить люди: обманутые своими чувствами, они не понимают, что материя и сила – одно и то же. А чудо в том, что, даже если в крышку твоего гроба вобьют последний гвоздь, тела в могиле не будет.

И лишь после этого, не раньше, ты сумеешь отделять сущность от видимости. А тот, кого ты встретишь потом, будет ни кем иным, как твоим предшественником на этом пути. Все остальные – тени. А до той поры тебя будет неотвязно преследовать вопрос, какая тебе выпадет доля: счастливейшего или несчастнейшего из созданий... Однако не бойся –

еще ни один из вставших на стезю бодрствования, даже если приходилось блуждать, не был оставлен проводниками.

Вот тебе примета, по которой можно узнать, что есть представший перед тобой образ: сущность или видимость, реальность или фантом? Если при его появлении у тебя мутится сознание, а предметы вокруг размываются или исчезают, – не верь! Будь начеку! Это – часть тебя самого. Если ты не угадываешь иносказательного смысла, который она скрывает в себе, это – всего лишь бесплотный призрак, тень, вор, живущий соками твоей жизни.

Воры, крадущие силу души, хуже тех, что охотятся за земными благами. Они, как обманные огоньки болот, внушают тебе ложные надежды, чтобы заманить во мрак и исчезнуть.

Не позволяй ослеплять себя никакому чуду, творимому ими как будто ради тебя, какие бы священные имена они ни принимали, какими бы пророчествами ни морочили, даже если их слова сбываются. Они твои смертельные враги, исторгнутые из ада твоего тела, у которого ты оспариваешь господство.

Знай: чудодейственные силы, какими они якобы владеют, отняты у тебя самого, чтобы держать тебя в рабских оковах. Они не могут жить вне твоего тела, но, если ты одолеешь их, они станут безгласным и послушным орудием, которым ты сможешь распоряжаться по собственной воле.

Не счесть их жертв в поколениях рода человеческого. Загляни в историю провидцев и сектантов, и ты узнаешь, что

тропа одоления, которой ты идешь, усеяна черепами.

Для защиты от этих демонов человечество инстинктивно воздвигло стену под названием „материализм". Это и впрямь крепостная стена, ибо символизирует тело, но она же и застенок, сужающий угол зрения.

Ныне, когда она стала разваливаться и из тысячелетнего пепла восстал готовый к полету Феникс, оживились и стервятники другого мира. Посему будь воистину бдителен. Чаша весов, на которую ты кладешь свое сознание, скажет только тебе, когда можно доверять видениям. Чем яснее оно будет в бодрствовании, тем ниже опустится чаша, перевесив видения, тебе на благо.

Если же явится тебе проводник, помощник или брат в мире духа, ему незачем будет обкрадывать твое сознание. А ты сможешь, подобно Фоме неверному⁶³, вложить руку в ребра его.

Совсем нетрудно *избежать* видений и исходящих от них опасностей – для этого тебе нужно просто быть обыкновенным человеком. Но какой в этом прок? Ты пребудешь узником в темнице своего тела, покуда палач по имени Смерть не повлечет тебя на плаху.

Неодолимое желание смертных узреть образы горнего мира иногда так вопиет, что будит и фантомов преисподней, ибо это желание нечисто, ибо, по сути, это алчба, направля-

⁶³ Согласно Евангелию, апостолу Фоме, усомнившемуся в воскресении Христа, Спаситель предложил вложить руку в свои ребра и осязать раны (Ин. 20: 20 – 29).

ющая руку берущего, а кричать подобает тому, кто научается давать.

Тот, для кого земля – юдоль и темница, всяк, взывающий богобоязненной душой о спасении, сам того не ведая, заклинает сонм призраков.

И ты поступай так же, но только осознанно.

Существует ли для тех, кто делает это бессознательно, некая незримая десница, по мановению которой они среди гиблой трясины обретают спасительный остров, – я не знаю. Спорить не хочу... но я в это не верю.

Когда на пути пробуждения ты минуешь царство призраков, тебе, пусть и не сразу, станет ясно, что это суть мысли, которые ты вдруг сумел постичь не умом, а глазами. Вот почему они кажутся тебе чужими и одушевленными – ведь язык форм совсем не то, что язык рассудка.

Потом наступит час, когда с тобой может произойти странная метаморфоза: люди, тебя окружающие, обратятся призраками. Все, кто был тебе мил, вдруг предстанут всего лишь личинами. Таковым будет и твое собственное тело.

Не поддается воображению страшное одиночество пилигрима, бредущего по пустыне и обреченного умереть от жажды, если он не найдет источника жизни.

Все, что я тебе сказал, можно найти в священных книгах любой религии, всюду толкуют про пришествие нового царства, про укрощение плоти и про одиночество. И все же нас разделяет с этими ревнителями своей веры непроходи-

мая пропасть. Они веруют в приближение дня, когда добрые войдут в рай, а злые попадут в адский котел. Мы же *знаем*, что придет время, когда многие будут разбужены и отделены от спящих, как господа от рабов, ибо спящим не понять бодрствующих. Мы знаем: нет зла и нет добра, есть лишь ложное и истинное. Они *веруют*: для бодрствования достаточно не закрывать ночью глаза и не приклонять к подушке голову, дабы можно было вознести молитву. Мы же *знаем*, что „бодрствование" означает пробуждение бессмертного „я" и что естественное следствие этого – недреманность тела. Они *веруют* в греховность плоти и потому клянут и презирают ее. Мы знаем: нет никакого греха, а тело есть начало, от которого мы должны оттолкнуться, и на землю мы спустились для того, чтобы претворить его в дух. Они веруют: тело надо испытывать аскетическим одиночеством, дабы обрести ясность духа. Мы знаем: сначала одиночество должно быть познано духом, и тогда преобразится плоть.

Какой путь выбрать, наш или их, решать тебе одному. Это – дело твоей свободной воли.

Советовать не берусь. Лучше и благороднее сорвать горький плод по собственному решению, чем по чьему-то совету созерцать висящий на дереве сладкий.

Только не уподобляйся тем многим, которые, хоть и знают прописную истину: „Испробуйте все и возьмите впрок лучшее", поступают наоборот – ничего не пробуя, берут что попало».

На этом страница кончалась, и тематическая нить была оборвана. Хаубериссер начал рыться в рукописи и как будто нашел продолжение. Создавалось впечатление, что неизвестный, к которому обращался автор, решил выбрать «языческий путь овладения мыслью», о чем свидетельствовал текст новой страницы, имевший подзаголовок: «Феникс».

«Отныне ты принят в наше сообщество и новым звеном влился в цепь, протянутую от вечности к вечности.

Тем самым моя миссия исполнена, и ты переходишь под начало другого, кого ты не увидишь, куда глаза твои еще принадлежат земле.

Он пребывает за бесконечными далями и все же совсем рядом с тобой. Он отделен от тебя не пространством и, однако, отстоит дальше внешних пределов вселенной. Ты объят Им, как плывущий в океане омыт соленой водой. Но ты не воспринимаешь Его, подобно пловцу, который не чувствует морскую соль, если у него мертвы нервы языка.

Наш символ – Феникс, олицетворяющий вечное обновление, сказочный орел древних египтян, дитя небес в красно-золотом оперении, он сжигает себя в гнезде из мирноносных ветвей, чтобы спустя века вновь восстать из пепла.

Я сказал тебе, что начало пути – твое собственное тело; тот, кто знает это, может начать странствие в любую минуту.

Научу тебя первым шагам.

Ты должен отделить себя от тела, но не так, будто твоя

цель – покинуть его, ты должен разъять себя с ним, подобно тому как человек, созерцающий огонь, разлагает его на свет и тепло.

И уже здесь тебя подстерегает первый враг.

Тот, кто *выползает* из тела, чтобы летать в пространстве, встает на путь ведьм, которые лишь вытягивают призрачное тело из грубого земного и в Вальпургиеву ночь скачут на нем как на метле.

Человечество, направляемое верным инстинктом, возвело заслон перед этой опасностью, вооружившись иронией по отношению к подобному штукатурству... *Тебе* уже нет необходимости защищаться сомнением, у *тебя* есть меч получше – это ключ, который вручил тебе я. Ведьмы летят на шабаш, но это лишь дьявольская иллюзия, на самом деле они лежат бесчувственными колодами в каком-нибудь закутке. Они просто променяли земное мироощущение на духовные миражи и потеряли лучшее, чтобы добиться худшего, они обнищали, а не обогатились.

Надеюсь, уже теперь тебе ясно, что это никак не путь пробуждения. Но еще надо уразуметь, что ты нетождествен своему телу, то есть преодолеть обычное человеческое заблуждение, а для этого ты должен узнать, каким оружием пользуется тело, чтобы удержать господство над тобой. Правда, пока ты настолько подавлен его властью, что твоя жизнь угаснет с последним ударом сердца, и ночь поглотит тебя, как только закроешь веки. Тебе кажется, ты управляешь движе-

ниями тела. Это – иллюзия. Оно двигается само, употребляя в качестве подсобной силы твою волю. Ты уверен, что сам творишь мысли. Нет, это тело посылает их тебе, чтобы ты вообразил себя их творцом. И ты делаешь все, что оно захочет.

Сядь прямо, замри так, чтобы не дрогнула ни одна ресничка, постарайся уподобиться статуе и тогда ты увидишь, что тело мгновенно выплеснет на тебя свою ярость и заставит вновь плясать под свою дудку. Оно обрушит на тебя всю мощь своего арсенала, пока ты вновь не позволишь ему двигаться. И по этому яростному натиску, по этому граду выпущенных в тебя стрел ты поймешь, как страшит его утрата своего господства и как велика твоя сила, если оно так боится тебя.

Но у него припасена еще одна хитрость. Оно попытается внушить тебе, что решающая битва за венец и скипетр происходит здесь, на равнине внешней воли. Не верь, оно нарочно затеет небольшую заварушку и даст тебе победить, чтобы еще туже затянуть на тебе хомут.

Те, кто выигрывает в этих мелких стычках, – несчастнейшие из рабов, они воображают себя победителями и с гордостью носят на лбу позорное клеймо «сильной личности».

Однако не обуздание тела – твоя цель. Сковать его движения надо лишь для того, чтобы измерить и оценить силы, которыми оно располагает. Их целые полчища, почти неодолимые в силу своей численности. Оно будет бросать их в бой одно за другим. И если ты не дрогнешь и не сдашь тверды-

ню, которую возвел вроде бы таким нехитрым способом, как неподвижное сидение, ты сможешь победить их всех, поборов сначала грубую силу мышц с их неумемной дрожью, остудив кипящую кровь, от которой горит в испарине лоб, утишив бой сердца и согнав с кожи озноб, и, наконец, остановив маятник, раскачивающий весь твой корпус... Ты победишь, но не только усилием воли. Твоя главная мощь уже – высшее бодрствование, которое стоит за ней незримо, словно в шапке-невидимке.

Но и эта победа ничего не стоит. Даже если ты сумеешь повелевать дыханием и биением сердца, ты будешь всего лишь факиром, что значит „нищий”.

„Нищий!” – этим сказано достаточно... И придет час, когда на тебя двинутся новые легионы. Это будут бесплотные рои мыслей. Им не страшен меч воли. Чем яростнее ты будешь рубиться с ними, тем свирепее станет их натиск, а если тебе удастся отпугнуть их, тебя сморит дремота и ты падешь, сраженный уже совсем другим оружием.

Усмирить их невозможно, а единственный способ уйти от них – восхождение на более высокие ступени бодрствования.

И на этом пути ты сам себе учитель и помощник.

Тут необходимы верное тонкое чутье и в то же время постоянная неколебимая решимость.

Это все, что я могу сказать тебе. Знай, что всякий совет, который тебе доведется от кого-либо услышать как напутствие перед этой мучительной битвой, есть яд. Тебя ждут

такие опасности, преодолеть которые возможно только собственными силами. Не старайся *раз и навсегда* прогнать терзающие тебя мысли, борьба с ними имеет лишь одну цель – возвыситься до состояния высшего бодрствования.

По достижении его к тебе приблизится царство призраков, о коем я уже говорил.

Твоему взору явятся ужасающие твари и светозарные образы. Они будут прикидываться существами иного мира... Но помни, что это лишь облекшиеся в образы мысли, которыми ты еще не вполне овладел!

И чем благороднее они будут казаться, тем пагубнее их сила, не забывай об этом!

Сколько страшного мѐрока скопилось в этих видениях, низвергнувших множество людей в беспросветную тьму! Однако же за каждым из этих фантомов скрывается глубокий смысл. Это не просто символы (независимо от того, понимаешь ты их символический язык или нет), это – знаки ступеней духовного развития, коих ты достиг.

Превращение твоих ближних в призраков, о котором я говорил, что оно последует за этим состоянием, несет в себе, как и всё в сфере духа, яд и целебную силу одновременно.

Если ты остановишься на полпути и будешь принимать людей *только* за призраков, то не впитаешь ничего, кроме яда, и станешь таким, о ком сказано: „Если он любви не имеет, он останется пустым, как медь звенящая“⁶⁴. Но коль ско-

⁶⁴ Парафраз слов апостола Павла: «Если я говорю языками человеческими и

ро уловишь глубинный смысл, сокрытый в каждом видении, имеющем человеческий облик, ты узришь духовным оком не только его, но и свою живую суть. И тогда будет тебе, как Иову, сторицей возвращено все у тебя отнятое. И будешь ты там, где и был, на смех глупцам, ибо им не постичь, что вернуться домой после долгих скитаний совсем не то, что оставаться все время дома.

Обретешь ли ты на этом пути чудесную силу, данную ветхозаветным пророкам, или же вечное упокоение, сие никому не ведомо. Такая сила есть добровольное даяние тех, кто хранит ключи от великих тайн.

Если ты их получишь и сумеешь правильно ими воспользоваться, то это совершится только во благо рода человеческого, который нуждается в знамениях.

Наш путь выводит лишь к ступени зрелости, если ты достиг ее, значит, достоин дара, а вот получишь ли его, – не знаю.

Но тебе не заказано стать Фениксом. Так или иначе. *Добиваться* этого – твоя воля.

Прежде чем я прошусь с тобой, ты должен узнать, какие знаки укажут тебе, призван ли ты во время „великого равенства“ воспринять чудесную силу. Итак, слушай.

Один из тех, кто хранит ключи к тайнам магии, остался на земле, дабы искать и собирать призванных.

ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий» (1 Кор. 13: 1.).

Ему не суждено умереть, и точно так же не будет предана забвению легенда о нем.

Одни говорят, что это Вечный Жид, другие называют его Илией, гностики уверяют, что это – евангелист Иоанн, но всякий, кто якобы видел его, описывает его на свой лад.

Пусть эти разногласия не сбывают с толку, буде повстречаются тебе в уже всхожем грядущем люди, рисующие его то в одном, то в другом облике.

Неудивительно, что его видят по-разному. Такое существо, как он, то есть некто, обративший свое тело в дух, не может быть запечатлен в неизменном образе.

Один пример поможет тебе уяснить, что его лик и весь его *облик* есть лишь кажущийся образ, призрачное отражение того, что он есть на самом деле.

Вообрази его существом зеленого цвета. На самом деле такого цвета не существует, хотя ты вроде бы можешь видеть его – он возникает из смешения желтого и синего. Всякий художник знает это, но лишь очень немногие видят истину: мир, который кажется зеленым, окрашен желтыми и синими тонами.

Да поможет тебе этот пример уразуметь: если доведется тебе встретить зеленоликого человека, не думай, что он открыл тебе свое истинное лицо.

Если же узришь его таким, каков он есть, как некую геометрическую фигуру, знак, начертанный на небесах, который никому, кроме тебя, не виден, можешь считать себя при-

званным и признанным чудотворцем.

Мне он явился во плоти, и я мог вложить руку в ребра его.

Его имя...»

Хаубериссер угадал. Это имя было написано на листе, который он всегда носил с собой, имя, не выходившее у него из головы:

«...Хадир Грюн».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В воздухе – запах тления. Душные, словно сгорающие в горячке, дни и мглистые ночи.

На прелой траве пятнами плесени белеют по утрам кружева паутины. Между грязно-меловыми бугорками земли – холодные, стекленеющие лужи, которые уже не верят солнцу. Иссохшие стебли не в силах поднять понурые цветочные головки к кристально ясному небу. Доживают свои последние часы мятущиеся бабочки с обтрепанными линялыми крыльшками. В аллеях и скверах – сухой шелест жухлой листвы.

Подобно увядающей женщине, которая не жалеет яркого грима, чтобы скрыть свой возраст, природа украшает себя румянами и позолотой осенних красок.

Имя Евы ван Дрейсен в Амстердаме уже забылось. Даже барон Пфайль считал ее погибшей, и Сефарди скорбел о безвозвратной утрате. Только Хаубериссер не мог примириться с мыслью о ее смерти.

Но он не заводил речи о Еве, когда у него бывали друзья и старик Сваммердам.

Фортунат стал немногословен и замкнут и говорил лишь о вещах, которые ничуть не волновали его. Ни единым намеком не выдал он своей сокровенной и крепнувшей день ото дня надежды когда-нибудь вновь увидеть Еву. Он боял-

ся, что, проговорившись об этом, разорвет некую тончайшую сеть.

Только Сваммердаму было позволено угадать его состояние, хотя на сей счет не прозвучало ни слова.

С того момента, когда Фортунат дочитал до конца свиток, в нем начала совершаться некая, ему самому непонятная метаморфоза. Сначала он решил поупражняться в неподвижном сидении и просиживал по настроению час или около того скорее из любопытства, не лишнего, однако, некоторой доли скепсиса, как человек, который заранее отрезвляет себя девизом безверия: «Все равно из этого ничего не выйдет».

Спустя неделю, несмотря на то что теперь он отводил упражнению не более пятнадцати минут утреннего времени, он выполнял его с полной концентрацией сил, ради самого процесса, а не в утомительном и всякий раз напрасном ожидании какого-то чуда.

Вскоре это занятие стало для него такой же потребностью, как и утренняя ванна, о которой он с радостью думал, ложась спать.

Много дней его мучили приступы жуткого отчаяния при мысли о том, что Ева потеряна навсегда, однако он не поддавался искушению теснить мучительные мысли каким-то магическим образом и даже бежать от воспоминаний о Еве, что всегда казалось ему победой эгоизма, бесчувствия и самобмана, но однажды, когда боль стала до того невыносимой, что избавиться от нее, казалось, может только самоубийство,

он решил сразиться.

Как полагалось по предписанию, он сел, выпрямил корпус и попытался достичь состояния высшего бодрствования, хоть ненадолго отбить натиск беспощадных мыслей. И вопреки ожиданиям, это, как ни странно, удалось с первой попытки. Еще за минуту до погружения он думал, что выйдет из него с еще одним рубцом горького раскаяния и будет терпеть сугубую пытку, но ничуть не бывало. Напротив, в него вселилось чувство непостижимой уверенности, о которое разбивались все измышляемые сомнения, – уверенности в том, что Ева жива и ей не грозит никакая опасность.

Если весь день мысли о ней обрушивались на него сотнями обжигающих ударов, то теперь он воспринимал их как весть: где-то вдали Ева думает о нем и шлет ему свои приветы. То, что было болью, вдруг обратилось в источник радости.

Так путем упражнений обрел он спасительный берег в собственной душе, где мог укрыться, чтобы почерпнуть новые силы для своих надежд и сокровенного роста, который для тех, кто не постиг его в самопознании, на всю жизнь останется пустым звуком, сколь бы часто они о нем ни слышали.

До того, как Фортунат открыл для себя это состояние, он думал, что, избегая боли, причиняемой мыслями о Еве, достигнет лишь скорейшего заживления душевных ран, грубо подтолкнет сам процесс исцеления – то самое время, кото-

рое, согласно пословице, лучший лекарь. И он всеми силами противился такому излечению, как всякий скорбящий, который заведомо знает, что притупление боли утраты означает и стирание образа любимого человека, с которым нет сил расстаться.

Но узкая, усыпанная цветами тропа меж двух этих бездн, о существовании которой он раньше и не подозревал, открылась перед ним как бы сама собой: образ Евы не канул и не стерся во прахе прошлого, чего он так боялся, – нет, исчезла не она, но боль. Перед ним явилась сама Ева, а не затуманенный его слезами образ, и в минуты умиротворенной самосредоточенности он чувствовал ее близость так ясно, будто до него долетало живое дыхание.

Все больше удаляясь от мира, он познал часы такого безмерного счастья, о котором прежде и помышлять не мог. Ему открывались все новые дали прозрения, и он все отчетливее понимал, что ему дано пережить истинное чудо, в сравнении с чем все были и небыли внешней жизни не просто миражи, как он думал всегда, а самые настоящие тени, отступающие перед лучами света.

Притча о Фениксе, пернатом провозвестнике вечного обновления, день ото дня все сильнее впечатляла его, обогащалась все новыми смыслами, позволяя увидеть разительное отличие живых символов от мертвых.

Все, чего он искал, казалось, заключено в этой неисчерпаемой метафоре.

Она разрешала все загадки, подобно всеведущему существу, дающему единственно правильные ответы на любые вопросы.

Например, упражняясь в усилиях овладеть ходом своих мыслей, Фортунат заметил, что порой у него на редкость хорошо получается, но затем, при попытках уяснить, каким именно способом он достиг такого результата, из памяти изглаживалось все, что могло бы пролить на это свет. В мозгу не оставалось никакого следа, и приходилось все начинать сызнова, чтобы придумать новую методику...

«Сон тела, вот кто похитил у меня сорванный плод», – говорил он себе в таких случаях и, чтобы впредь не допустить этого, принимал решение больше не ложиться спать. Неизвестно, как долго ему пришлось бы изводить себя бессонницей, если бы однажды утром его не осенило: эти странные пустоты в памяти – не что иное, как «пепелища», а из пепла непременно должен восстать вновь обновленный Феникс. И незачем изобретать методы, а потом припоминать их, прав был Пфайль, когда говорил в Хилверсюме: истинная ценность не в готовом холсте, а в таланте художника.

С тех пор как Фортунат уразумел это, овладение мыслями превратилось из утомительной головоломки в неизменное наслаждение, и он восходил от ступени к ступени, даже не считая их, пока в один прекрасный день не обнаружил с великим удивлением, что уже владеет ключом к могуществу, о котором и мечтать не мог.

«У меня такое чувство, что до сих пор я был жертвой мыслей, они роились в моей голове, добывая из нее пищу, – рассказывал он Сваммердаму, с которым все еще по обыкновению делился своими переживаниями, – а теперь я могу усилием воли отправить их в полет, и они возвращаются ко мне, и у каждой – медоносный взятки смысла. Раньше они опустошали меня, а теперь обогащают».

Спустя неделю он случайно наткнулся в дневнике на описанный почти теми же словами сходный духовный казус и не мог не нарадоваться тому, что стоит на верном пути, который нашел сам.

Листы с этими строками, слипшиеся от плесени и сырости, просохнув под лучами падавшего из окна света, отделились друг от друга и теперь поддавались прочтению.

Он чувствовал, что и во всем строе его мыслей происходит нечто подобное.

В последние годы – до и во время войны – он всякое слышал и читал про так называемую мистику. И все, что с этим связано, в большей или меньшей степени служило идее «туманности», ибо, насколько он мог судить, было как будто нарочно размыто, ступшено и чем-то напоминало экстатическое бормотание курильщиков опиума. И хотя он не сомневался в справедливости своего приговора, а то, что с чьей-то легкой руки именуется мистикой, считал ни чем иным, как блужданием в тумане, теперь он мог поверить в реальность истинного мистического состояния, которое трудно обрести,

а еще труднее вызвать каким-то усилием, – оно не только не уступает в яркости обыденному восприятию жизни, но и значительно превосходит его живой естественностью.

Это уже не имело ничего общего с сомнительной усладой экзальтированных «мистиков», со смиренными всхлипами соискателей персонального «спасения», для коего непременно нужен кровавый фон в виде осужденных на вечные муки грешников. Но и сытое чавкающее самодовольство человеческого быдла, убежденного в том, что переваривает свою жвачку на почве реальности, тоже казалось чем-то далеким, как полузабытый тошнотворный кошмар.

Хаубериссер выключил свет, сел за стол и стал Ждать темноты. За окном опустился тяжелый занавес ночи.

Фортунат чувствовал, что Ева совсем рядом, но не мог видеть ее.

Когда он закрывал глаза, краски собирались в кучевые облака, таяли и вновь обретали плотность. Опыт подсказывал ему, что это он собирает их, что они составляют тот материал, из которого он может творить образы, которые поначалу кажутся застывшими и безжизненными, но постепенно, будто одушевленные таинственной силой, обретают собственную жизнь, как существа, ему подобные.

Несколько дней назад ему впервые удалось увидеть и оживить таким образом лицо Евы, и он было решил, что стоит на верном пути, что это духовный путь воссоединения с ней,

но тут он вспомнил те строки из свитка, где говорится о галлюцинациях ведьм, и понял: перед ним безбрежное болото, населенное призраками, – сделаешь только шаг и уже не выберешься.

И чем мощнее напирала сила, претворявшая в образы его сокровенные, не познанные им самим желания, тем неотвратимее становилась опасность – он чувствовал это – заплутать на коварных тропах, которые уже никогда не выведут назад.

С содроганием и в то же время с щемящей тоской он вспоминал минуты, когда ему удалось вызвать фантом Евы. Сначала тот был бледен, как серая тень, но потом наполнился цветом и жизнью, и вот перед ним стояла она, и казалась полнокровнее самой жизни.

Фортунат навсегда запомнил сковавший все его тело ледяной холод, когда, повинуясь магическому инстинкту, он отважился на попытку ощутить видение и другими чувствами – слухом и осязанием.

С тех пор он столько раз ловил себя на поползновении еще раз сволхвовать перед внутренним взором этот образ, и ему стоило невероятных усилий воспротивиться соблазну.

Была уже глубокая ночь, а он все не решался отойти ко сну. Что-то подсказывало ему: должно же быть какое-то магическое средство призвать к себе Еву, но не как призрак, оживленный дыханием его, Фортуната, души, а как живого человека.

Он отпустил свои мысли на волю, чтобы они вернулись, зарядившись новыми импульсами. Успешный опыт последних недель убеждал в том, что эта метода отсылки вопросов и терпеливого ожидания ответов, это осознанное чередование активного и пассивного состояния не подводит даже в тех случаях, когда речь идет о вещах, не уяснимых логическим мышлением.

В голове проносились идея за идеей, одна другой замысловатее и фантастичнее. Он взвешивал их на весах своих чувств и каждую находил слишком легкой⁶⁵.

И вновь «бодрствование» послужило ключом к потаенному затвору.

Однако на сей раз – интуитивно угадал Фортунат – не только сознание, но и тело надо привести в состояние высшей жизненной активности. *В теле* дремлют магические силы, их-то и необходимо разбудить, если стремишься воздействовать на вещественный мир.

Он увидел вдруг поучительный пример в том, что целью, которую арабские дервиши пытались достичь в вихревой пляске, было не что иное, как высшее «бодрствование» плоти.

Словно подчиняясь какому-то внушению, он положил ладони на колени, выпрямил спину, принимая позу высеченных в камне египетских божеств, чьи неподвижные лики сей-

⁶⁵ Вариация библейского выражения: «ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5: 27.).

час казались ему выражением магической силы. Фортунат и сам будто окаменел, но в то же время все его тело превратилось в источник мощного огненного потока волн.

Уже через несколько минут его обуяла какая-то небывалая ярость.

Безумный гвалт человеческих и звериных голосов, заливи́стый лай, пронзительное кукареканье – все это загромыхало в его мозгу, сотрясая своды черепа. Комната заходила ходуном, словно дом начал распадаться на части... Металлическое гудение гонгов, похожее на возвешение Судного дня, дрожью отдавалось в костях, и Фортунат подумал, что вот-вот рассыпется в прах, кожу жгло, словно на плечи ему был наброшен хитон Несса⁶⁶, но он стиснул зубы и не позволил телу даже шевельнуться.

При этом он непрерывно, с каждым ударом сердца, призывал к себе Еву.

Какой-то голос, тихо шепча и все же, подобно тонкой игле

⁶⁶ *Хитон Несса*. – Согласно древнегреческому мифу, кентавр Несс, пытавшийся похитить жену Геракла Деяниру, был смертельно ранен Гераклом и, желая отомстить, научил Деяниру собрать кровь из своей раны, служащую якобы противоядием. Возревновав мужа к Иоле, Деянира пропитала кровью Несса хитон Геракла, но, так как кентавр погиб от стрелы, смоченной ядом Лернейской гидры, его кровь сама стала ядом. Хитон прирос к телу Геракла, яд, проникая через кожу, причинял ему невыносимые страдания. Поднявшись на гору Эта, Геракл разложил погребальный костер и взошел на него. Когда пламя охватило Геракла, с неба по воле Юпитера спустилась колесница, которая унесла героя на Олимп, где он был принят в сонм бессмертных богов. (См.: Овидий. *Метаморфозы*. Кн. IX).

пронзая чудовищный шум, предостерегал его: не затевай игру с неведомыми силами, ты еще не созрел для одоления их, они же в любой миг могут навсегда помрачить твой разум! Но Фортунат не внимал этим увещеваниям.

Голос звучал все громче, так громко, что, казалось, дикий гвалт монстров отступил перед ним. Голос кричал, убеждая его смириться. Пусть даже Ева и придет на его зов, слитый с воплями разгулявшихся сил преисподней, но если она явится, не пройдя путь своего духовного развития, то в тот же час угаснет как догоревшая свечка, и тогда на него навалится такая громада боли, какую ему не вынести... Но Фортунат закусил губы и ничего не хотел слышать... Голос попытался убедить его новыми резонами: Ева-де давно бы уже пришла к нему или дала бы знать о своем местонахождении, если бы была такая необходимость, – у него же есть доказательства того, что она жива. Не она ли ежечасно шлет ему мысли, согретые истинной любовью? И разве не чувствует он безошибочно ее присутствие каждый день?... Фортунат пропускал эти речи мимо ушей. Он звал и звал.

Всепоглощающее желание хотя бы на миг заключить Еву в объятия затмило рассудок.

И вдруг все смолкло, и в комнате стало светло как днем. В самом ее центре буквально вырос из половиц, почти достигнув потолка, ветхий деревянный столб с перекладиной на верхнем конце, похожий на усеченный крест.

Его обвивала, свесив голову с перекладины, мерцающая

зеленой чешуей змея в руку толщиной. Немигающие глаза смотрели прямо на Фортуната.

Голова с черной повязкой на лбу напоминала череп мумии; сухие, тонкие как пергамент губы туго обтягивали гнилые желтые пеньки зубов. Несмотря на то что змеиные черты поражали своей мертвенностью, Хаубериссера поразило их отдаленное сходство с лицом Хадира Грюна, каким тот предстал перед ним когда-то в лавке.

У Хаубериссера волосы встали дыбом и сердце сбилось с ритма, когда он услышал свистящие, уродливо обрубленные звуки, медленно выдавливаемые гнилой пастью:

– Щ-то те-бе от ме-ня нуж-но?

В следующий миг он был парализован ужасом, почувствовав мелькнувшую за спиной тень смерти. Ему показалось, что по блестящей столешнице прошмыгнул мерзкий черный паук. И тут сердце Фортуната исторгло крик: «Ева!»

Комната мгновенно погрузилась во тьму, и, когда он, мокрый от пота, на ощупь добрался до двери и зажег электрический свет, усеченного креста со змеей в комнате уже не было.

Трудно дышалось, как будто воздух пропитан ядом. Предметы плыли и кружились перед глазами.

«Это *просто*... лихорадочный бред», – тщетно пытался он успокоить себя. Его душил страх: ведь все, что он видел минуту назад, было так явственно и осязаемо.

Он вспомнил предостерегающий голос, и по спине пробежала струйка холодного пота. Фортунат, как смертельно-

го удара, ожидал возобновления зловещего карканья, возвещающего, что своими безрассудными магическими экспериментами он-таки вызвал Еву и тем самым поставил ее на край гибели.

Фортунат слабел от удушья. Он старался растормошить себя, кусая ладонь, затыкал уши, сотрясал кресло. Потом распахнул окно и всей грудью вдохнул холодный ночной воздух. Но ничто не помогало. Его по-прежнему угнетало ощущение каких-то сдвигов, необратимых перемен в невидимом мире причин.

Яростными фуриями на него обрушивались мысли, господином которых он всегда себя мнил. И никакие фокусы с полной неподвижностью не спасали.

Да и метода «пробуждения» не срабатывала.

«Это – безумие, безумие, безумие, – стиснув зубы, повторял он про себя и, как угорелый, носился по комнате. – Ничего же не было! Просто галлюцинация! Не более того! Я сошел с ума! Дофантазировался! Голос – обман! И ничего здесь не появлялось! Откуда тут взяться шесту с этой гаденой! И пауку!»

Он заставил себя растянуть губы и расхохотаться. «Паук!! Ну и где же он?» – пытался он высмеять самого себя. Фортунат зажег спичку, собираясь осветить пространство под столом, но смутный страх остановил его: он боялся увидеть там ползучее подтверждение недавнего морока.

Часы на башне пробили три, и он облегченно вздохнул,

будто гора с плеч свалилась: «Слава Тебе, Господи. Ночь на исходе».

Он подошел к окну, перегнулся через карниз и начал всматриваться в серое марево, словно стараясь разглядеть первые признаки наступающего утра, и тут до него дошло, чего же он на самом деле так жаждет увидеть. Им двигала лишь одна мысль: *не идет ли Ева?*

Он опять принялся расхаживать из угла в угол, утешая себя трезвыми доводами: «Тоска по ней достигла такой силы, что воображение ухитрилось даже ясный ум помутить кошмарными видениями». И тут его ждало новое страшное открытие. Он заметил на полу какое-то темное пятно, которого никогда раньше не видел. Он нагнулся и ахнул: на том самом месте, где, как ему привиделось, стоял усеченный крест со змеей, именно здесь-то прогнила половица.

У него перехватило дыхание. Невероятно, именно здесь. Громкий удар, вроде как однократный стук, вывел его из оцепенения.

Ева?

Вот! Опять!

Нет, какое там. Чей-то мощный кулак грохотал внизу по входной двери.

Фортунат бросился к окну и окликнул неизвестного.

Ответа не последовало.

Но спустя какое-то время вновь раздался громкий, нетерпеливый стук.

Он дернул за бархатную кисть шнура на стене, протянутого вниз и служившего для открывания двери в дом.

Щелкнул засов.

Мертвая тишина.

Фортунат прислушался... Никого.

И на лестнице ни шороха.

Наконец послышалось едва слышное шуршание, как будто кто-то шарил рукой по двери.

Дверь открылась, и в комнату молча шагнул негр, босой, в шапке зачесанных кверху и осыпанных каплями тумана волос.

Хаубериссер сделал произвольное движение рукой, словно ища оружие. Но зулус не обращал на него ни малейшего внимания, скорее всего, даже не видел Фортуната. Уставясь в пол, раздувая ноздри и подрагивая всем телом, как настороженный охотничий пес, негр медленными шагами двинулся вокруг стола.

– Что вам здесь нужно? – крикнул Хаубериссер, но чернокожий даже бровью не повел в ответ.

Его дыхание напоминало похрапывание, а сам он смахивал на лунатика, не воспринимающего то, что происходит вокруг.

И вдруг он, как бы найдя свою цель, резко повернул в сторону и, упершись взглядом в пятно гнили на половице, склонился над ним. Затем его взгляд медленно и целенаправленно, словно скользя по невидимой черте, потянулся квер-

ху и остановился. Это было настолько живо и выразительно, что Фортунату на миг почудилось, будто в комнате снова появился обломок креста. Нет, чернокожий и впрямь видел змею, его взгляд был прикован к одной точке, мясистые губы шевелились, он что-то бормотал, не иначе как разговаривая с зеленой тварью. Его лицо искажалось неуследимой сменой гримас, выражало то вожделение, то смертельную усталость, на миг озарялось бурной радостью, тут же переходившей в ревность и лютую злобу.

Безмолвный разговор, видимо, подходил к концу. Зулус повернулся к двери и сел на корточки. Хаубериссер видел, как пробежавшая по его лицу судорога буквально вытолкнула язык из широко раскрытого рта, затем язык был мгновенно втянут и, судя по горловому клокоту, проглочен.

Глазные яблоки дрогнули и закатились, лицо стало пепельно-серым.

Фортунат рванулся было вперед, хотел растолкать негра, но свинцовая необъяснимая усталость будто придавила его к креслу. Он не мог даже поднять, руки... Казалось, и его поразила каталепсия.

Комната превратилась в какую-то выпавшую из потока времени кошмарную картину с неподвижной черной фигурой. Единственным знаком жизни, который мог воспринимать Фортунат, был монотонный стук его собственного сердца, даже страха за Еву он уже не чувствовал.

Он вновь услышал бой часов на башне, но был не в со-

стоянии сосчитать удары. Дремотная притупленность чувств разделяла их такими интервалами, что между ними вклинивалась целая вечность.

Должно быть, прошел ни один час, покуда зулус не обрел наконец способность двигаться.

Словно сквозь пелену Хаубериссер увидел, как негр поднимается и покидает комнату, все еще погруженный в глубокий транс. Собрав все свои силы, Фортунат преодолел оцепенение и бросился на лестницу вдогонку негру. Но тот уже исчез, входная дверь была распахнута, в густом тумане, затопившем улицу, ничего не было видно.

Он уже хотел повернуть назад, как вдруг услышал легкие шаги... и из белесой мглы выступила фигурка Евы.

С криком восторга он заключил ее в объятия, но она была еле жива от изнеможения и пришла в себя лишь после того, как он отнес ее в дом и осторожно опустил в кресло.

И потом они долго-долго слушали биение своих соединившихся сердец, не в силах поверить своему безмерному счастью.

Он стоял перед ней на коленях и не мог вымолвить ни слова. Ева, нежно обхватив его голову ладонями, покрывала ее бесконечными поцелуями.

Прошлое казалось ему забытым сном. Задавать вопросы о том, где она так долго пропадала и что ей довелось пережить, означало бы обкрадывать драгоценное достояние на-

стоящего времени.

В окна хлынул поток звуков – звон церковных колоколов, но они не слышали их, сквозь стекла пробивался бледный свет осеннего утра, но они не замечали его, они видели и слышали только друг друга. Он с упоением осязал ладонями ее щеки, целовал руки, губы, глаза, вдыхал аромат ее кожи и все еще не мог поверить, что все это происходит наяву и что их сердца бьются наконец так близко друг от друга.

– Ева! Ева!... Никогда больше не покидай меня! – Слова тонули в ливне поцелуев. – Скажи, что больше не сделаешь этого!

Она обвила его руками, прижалась щекой к его лицу.

– Нет, нет. Теперь я навсегда с тобой. Даже смерть не разлучит нас. Я нашла тебя, это несказанное счастье.

– Не говори о смерти, Ева! – воскликнул он, почувствовав, как похолодели вдруг ее ладони.

– Не пугайся, любимый. Я уже не смогу уйти от тебя. Любовь сильнее смерти. Это сказал Он. А Он говорит истину. Я была мертва, и Он оживил меня. И никогда не даст умереть, даже когда смерть коснется меня. – Она говорила как в лихорадке. Фортунат поднял ее и перенес на кровать. – Он выходил меня, когда я была, казалось, безнадежно больна. Целыми неделями я не приходила в сознание и висела где-то между небом и землей, ухватившись за красный ремень, который смерть носит на шее. И тогда Он разорвал это красное ожерелье!... С тех пор я свободна... Разве ты не чувствовал,

что я ни на час не расставалась с тобой?... Почему... Почему так несется время? – У нее срывался голос. – Позволь... мне стать твоей женой! Я хочу быть матерью, когда снова приду к тебе...

Они обняли друг друга так, словно никакая сила не могла расторгнуть узы этой безграничной любви. И все чувства и мысли потонули в ощущении безбрежного счастья.

– Ева!

Ни звука в ответ.

– Ева! Ты слышишь меня?

Он рывком раздвинул полог над кроватью.

– Ева! Ева! – Фортунат тронул ее руку, рука безжизненно упала. Он приложил ухо к груди Евы. Сердце не билось. Он смотрел ей в глаза, но их взор угас.

– Ева! Ева! Ева! – закричал он не своим голосом и метнулся к столу. – Воды! Скорее воды! – И тут он упал, словно сбитый ударом кулака. – Ева!

Стакан разбился, осколки вонзились в пальцы. Фортунат вскочил и, рвя на себе волосы, бросился к постели.

– Ева!

Он хотел встряхнуть ее, но, заметив на застывшем лице улыбку смерти, уронил голову на грудь любимой.

– Внизу на улице кто-то гремит жестью. Бидоны? Ну конечно... Это молочница... Это она гремит бидонами...

Он почувствовал, как теряет сознание. Где-то совсем ря-

дом билось сердце, он даже мог сосчитать тихие, мерные удары, не ведая, что это бьется его собственное сердце... В полном забытии он ласкал светлые шелковые пряди, разметавшиеся по подушке.

– Как они прекрасны!... А почему не тикают часы? – Он поднял глаза. – Время остановилось. Ну да. День так и не наступил. А там на столе ножницы и две свечи горят рядом... Зачем же я их зажег?... Наверно, забыл погасить, когда ушел негр... Конечно. А потом не было времени... Потому что вернулась... Ева... Ева??. Но ведь она умерла! Умерла! – Это слово разрывало ему грудь. И его, как полымя, обжигала невыносимая боль.

– Конец! Мне не жить без нее! Я должен уйти вслед за ней... Ева! Ева! Подожди! Я иду за тобой! – Тяжело дыша, он бросился к столу и схватил ножницы. – Нет, сразу вонзить их в сердце... это слишком просто. Я должен слепым уйти из этого проклятого мира! – Он развел лезвия и в отчаянии размахнулся, чтобы удар пришелся по глазам, но тут кто-то с необычайной силой выбил у него из руки ножницы, и они звякнули об пол.

– *Вздумал отправиться в царство мертвых, чтобы искать живых?* – Перед ним, как тогда в лавке, стоял Хадир Грюн – тот же черный лапсердак и седые пейсы. – *Ты думаешь, «там» истинная жизнь? Как бы не так. Там – лишь страна призрачного блаженства для слепых привидений, так же как сей мир – страна преходящей муки для сле-*

ных мечтателей!

Тому, кто не научился «быть зрячим» здесь, там не научиться и подавно... Ты вообразил, что, если ее тело бездыханно, – он указал на Еву, – ей уже не воскреснуть? Она-то жива, это ты пока еще мертв. Кто однажды был воистину живым, как она, тот уже никогда не умрет. А мертвец, такой, как ты сейчас, может ожить. – Он подошел к свечам на столе и переставил их, правая оказалась слева, а левая справа, и Фортунат ощутил странную пустоту в груди, как будто из нее вынули сердце. – И так же, как тебе теперь ничто не мешает вложить руку в мои ребра, ты сможешь соединиться с Евой, если только возвысишься до новой, духовной жизни... Люди будут считать Еву мертвой. Но что тебе до этого? От спящих нельзя требовать, чтобы они видели пробужденных.

*Ты призывал преходящую любовь, – он указал на то место, где стоял обрубленный крест, коснулся стопой пятна гнили и стер его, – я принес тебе преходящую любовь, ибо оставлен на земле не для того, чтобы **брать**, а с тем, чтобы **давать**, – каждому дать то, чего он жаждет. Но человек не знает, чего желает его душа. Если бы люди знали это, они были бы зрячи.*

В иллюзионе мира сего ты возмечтал о новых очах, чтобы видеть земные вещи в новом свете, но вспомни о том, что я говорил тебе: сначала надо выплакать старые глаза – лишь тогда ты обретишь новые.

Ты жаждал знания, я дал тебе записки одного из присных моих, который жил в этом доме, когда его тело было еще тленно.

*Ева желала **непреходящей** любви, я помог ей обрести ее, помогу и тебе ради Евы. Преходящая любовь призрачна.*

Когда я вижу на земле ростки, пробившиеся сквозь прах любви призраков, я осеняю их ветвями рук своих, дабы защитить от смерти, алчущей плодов, ибо я не только фантом с зеленым ликом, я еще и Хадир, Вечно Зеленеющее Древо.

Утром, когда экономка, госпожа Омс, принесла завтрак, она, к своему ужасу, увидела распростертое на постели мертвое тело молодой красавицы, а рядом с кроватью – колено-преклоненного Хаубериссера, который прижимал к своему лицу ладонь покойной.

Она немедленно отправила посыльного к друзьям своего постояльца. Прибывшие вскоре Пфайль и Сефарди, решив, что он без сознания, попытались поднять его и в испуге отпрянули, увидев озаренное улыбкой лицо со сверкающими глазами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Доктор Сефарди пригласил к себе барона Пфайля и Сваммердама.

Все трое расположились в библиотеке и просидели там более часа.

За окном была уже глубокая ночь, а они никак не могли закончить беседу о мистике, о философии, о каббале, о загадочном коммерсанте Лазаре Айidotтере, который давно уже был отпущен из-под надзора врачей и вновь начал торговлю спиртным, но разговор все время возвращался к Хаубериссеру.

Похороны Евы должны были состояться на следующий день.

– Какой ужас! Бедняга Фортунат! – воскликнул Пфайль и, вскочив с места, заметался по комнате. – Меня бросает то в жар, то в холод, как только представлю себя на его месте. – Барон остановился и вопросительно посмотрел на Сефарди. – А не отправиться ли нам к нему? Может быть, в одиночестве ему еще хуже? А как вы думаете, Сваммердам, что если для него все-таки исключена возможность выбраться из этого до ужаса спокойного забытья? Что если он вдруг придет в себя и, осознав всю боль утраты...

Сваммердам покачал головой.

– О нем не беспокойтесь, господин барон. Отчаяние ему

не грозит. В нем, как сказал бы Айдоттер, переставлены све-
чи.

– В вашей вере есть нечто пугающее, – тихо заметил Се-
фарди. – Когда я слушаю ваши речи, мне, право, как-то... не
по себе... – Он на мгновение умолк, задумавшись о том, не
разбередят ли его слова старую рану старика. – Когда уби-
ли Клинкербогга, все мы с тревогой думали о вас. Мы ду-
мали, это подкосит вас. Ева настойчиво советовала мне на-
вестить вас и успокоить. Откуда вы черпали силу, чтобы с
таким мужеством пережить событие, которое, казалось бы,
должно было подорвать вашу веру в самом ее основании?...

– Вы помните предсмертные слова Клинкербогга? – пре-
рвал его Сваммердам.

– Да, слово в слово. Позднее мне даже стал ясен их смысл.
Можно не сомневаться в том, что он безошибочно предви-
дел свой конец еще до того, как в комнату вошел негр. Это
доказывает уже одна лишь его фраза: «Царь Мавританский
принесет ему смирну жизни нездешней».

– И как раз то, что его прорицание сбылось, и утишает
мою боль, господин доктор. Поначалу я, конечно, был со-
крушен, но потом, когда постиг все величие происшедшего,
я спросил себя: что считать более ценным – подтверждение
истинности слова, изреченного в состоянии духовной само-
сосредоточенности, или возможность на какой-то срок про-
длить земную жизнь больной, чахоточной девочки и дряхло-
го старика? Разве было бы лучше, если бы уста духа солга-

ли? С тех пор воспоминания о роковой ночи стали для меня источником истинной, чистейшей радости. Да, смерть отняла их у нас. Но всегда ли смерть трагедия? Поверьте, обоим теперь лучше, чем прежде.

– Стало быть, вы твердо убеждены в продолжении жизни после смерти? – спросил Пфайль. – Впрочем, я и сам сейчас в это верю, – чуть слышно добавил он.

– Разумеется, убежден. Ведь рай – не место, а состояние. Земная жизнь – тоже лишь состояние.

– А сами-то вы мечтаете об этой неземной жизни?

– Н-нет, – не слишком энергично произнес Сваммердам, давая понять, что ему не хотелось бы говорить на эту тему.

Старый лакей в ежевичного цвета ливрее доложил, что хозяина спрашивают по телефону. Сефарди встал и вышел из комнаты.

Сваммердам тут же развил свою мысль. И Пфайль понял, что он не хотел делать этого при докторе.

– Видите ли, вопрос о потусторонней жизни – обоюдострый клинок. Кому-то можно нанести неисцелимую рану утверждением, что там существуют лишь образы.

– Образы? Что вы имеете в виду?

– Поясню это примером. Моя жена – вы знаете, она умерла много лет назад, – бесконечно любила меня. Я отвечал ей тем же. Теперь она «там», и ей грезится, что и я с нею. На самом же деле это не я, а лишь мой образ. Если бы она знала это, рай превратился бы для нее в ад. Всякий смертный

находит за пределами земного мира образы тех, к кому всей душой был привязан здесь, и принимает их за действительно существующие, даже образы вещей, которые были ему дороги. – Он указал на ряды книг вдоль стен. – Моя жена истово верила в Пресвятую Деву. Теперь она «там» так же верит, что пребывает в ее объятиях. Просветители, стремившиеся изъять массу людей из лона религий, не ведают, что творят. Истина открывается лишь немногим избранным и должна оставаться тайной для широких слоев. Тот, кто познает лишь часть ее, после смерти попадает в некий бесцветный рай. Клинкербогк жил здесь одной надеждой – узреть Бога, теперь он там и видит то, что ему хочется видеть – «Бога». Он был человеком малосведущим и необразованным, но из его уст исходили слова истины, рожденной мученической любовью к Богу, хотя милосердная судьба не открыла ему сокровенного смысла этой истины.

Я долго не мог понять, в чем тут дело, но теперь мне ясно: он постиг лишь половину истины, его страстное желание видеть Бога осталось несбыточным и в грезах «там», и в жизни здесь...

Сваммердам мгновенно умолк, как только услышал шаги Сефарди. И Пфайль догадался почему: старик, несомненно, знал о любви Сефарди к Еве, знал он и о том, что доктор, несмотря на свою принадлежность к миру естествознания, в глубине души был верующим человеком, а потому Сваммердаму не хотелось оскорблять его чувства сомнением в гря-

душем «рае», где он надеется соединиться с Евой.

– Как я уже сказал, – продолжал старик, – исполнение пророчеств Клинкербогга лишило в моих глазах всякого трагизма его ужасную смерть и обратило мою скорбь в радость. Есть и такая «перестановка огней», когда горькое становится сладким, и это достигается только истиной.

– Тем не менее для меня остается неразрешимой загадкой, – вновь вступил в разговор Сефарди, – что дало силу вам справиться со своей болью. Я тоже могу искать утешения в философии, чтобы выстоять в горе, и, однако, мне кажется, что после смерти Евы я навсегда утратил способность радоваться.

Сваммердам задумчиво кивнул.

– Конечно. Я понимаю. Это происходит оттого, что ваше знание, господин доктор, основано на мышлении, возникает из мысли, а не из Сокровенного Слова. Мы, сами того не ведая, втайне не доверяем собственным познаниям, потому что они тусклы и мертвы, а внушения Сокровенного Слова – живые дары истины. Они радуют нас несказанно, и эта радость никогда не тускнеет. С тех пор как я на Пути, Сокровенное Слово было внятно мне всего лишь несколько раз, но и этого хватило, чтобы озарить всю мою жизнь.

– И все сказанное сбылось? – спросил Сефарди с приглушенным оттенком сомнения. – Или это были вовсе не предсказания?

– Среди них оказались три прорицания, касавшиеся отда-

ленного будущего. Первое гласило: не без моего посредства некой молодой паре откроется духовный путь, который был замечен пылью тысячелетий, а в грядущем послужит многим людям... Только для тех, кто встал на эту стезю, бытие обретает истинную ценность и смысл. Это обетование определило всю мою жизнь... О втором мне не хотелось бы говорить... вы сочтете меня сумасшедшим, если я скажу, что...

– Речь идет о Еве? – наострил уши Пфайль, но старик ушел от ответа и с улыбкой продолжал:

– А третье может показаться не очень важным, хотя это и не так, впрочем, оно вряд ли заинтересует вас...

– А есть ли какие-либо указания на то, что хотя бы одно из трех предсказаний сбывается?

– Да. Чувство неколебимой уверенности. Меня не волнует, буду ли я свидетелем свершения. Мне довольно знать, что сомневаться не мог бы себя заставить, даже если бы захотел. Вам не понять, что это значит, – ощущать близость истины, которая не может сбиться с пути. Такие вещи надо прочувствовать самому. Я никогда не сталкивался с так называемыми «сверхъестественными» явлениями... Разве что однажды, в те дни, когда я искал зеленого жука и мне явилась во сне жена... Я никогда не стремился «узнать Бога», мне не доводилось увидеть ангела, как Клинкербогку, или повстречать пророка Илию, как Лазарю Айдоттеру, но вместо этого мне сторицей воздалось ощущением живого смысла еван-

гельских слов: «Блаженны не видевшие и уверовавшие»⁶⁷! Вот что стало моей истиной.

Я уверовал, когда, казалось, не может быть веры и с горчичное зерно, я научился считать невозможное возможным.

Иногда я чувствую: рядом со мной некто великий и всемогущий, он осеняет своей десницей всех. Я не вижу и не слышу Его, но *знаю*: Он существует.

Я не надеюсь Его увидеть, но я уповаю *на Него*.

Я знаю, придут времена страшных потрясений вслед за бурей, какой еще не видывал мир. Мне безразлично, буду ли я их свидетелем, но я рад, что эти времена настанут!

Пфайль и Сефарди аж похолодели, когда старик завершил свою речь словами, произнесенными спокойным и бесстрастным тоном:

– Нынче утром вы спросили меня, с чего я решил, что отсутствие Евы окажется таким долгим? Откуда я мог это знать? Я знал лишь, что она придет, – и она *пришла*! И я убежден – не менее, чем в том, что нахожусь среди вас: она... не умерла! Он простирает над ней свою руку!

– Но ведь она уже на гробовом помосте! В церкви! Завтра похороны! – перекрикивая друг друга, воскликнули Сефарди и Пфайль.

– Даже если ее похоронят тысячу раз, даже если я буду держать в руках ее мертвый череп, я все равно *знаю*: она не умерла.

⁶⁷ Ин. 20: 29.

– Он сумасшедший, – сказал Пфайль после того, как Сваммердам откланялся.

* * *

Высокие витражные окна церкви св. Николая тускло мерцали в сыром мраке ночи, едва пропуская горевший в храме скудный свет. Негр Узибепю затаился, прижавшись спиной к стене церковного сада и выжидая, когда мимо тяжело прошагает усталый полицейский, который после всех кошмаров на Зейдейк обходил дозором здешние улочки. Дав ему удалиться, негр влез на решетку, затем на дерево и перемахнул на крышу пристроенной к церкви часовни. Осторожно открыв круглое чердачное окно, он бесшумно, как кошка спрыгнул вниз.

Посреди нефа на серебряном катафалке лежала усыпанная белыми розами Ева со сложенными на груди руками. Глаза были закрыты, на лице застыла улыбка. У изголовья и по обеим сторонам гроба стояли почетным караулом высокие свечи, точно копья с неподвижными огненными наконечниками.

Из ниши в стене смотрел темноликий образ Мадонны с младенцем, перед ней на свисавшей с потолка блестящей нити кровоточило рубиновое сердце неугасимой лампы. Под решетчатой сенью – бледные ступни и руки из воска, рядом –

ключки, на каждой записка: «Благодатью Пресвятой Девы сотворено чудо исцеления». На каменных постаментах – раскрашенные деревянные статуи понтификов в белых тиарах и с торжественно воздетыми десницами. Мраморные бороздчатые колонны терялись в темной высоте. Негр, крадучись, скользил по теням этих гигантов, дивясь множеству невиданных, диковинных вещей, а увидев восковые конечности, злорадно хмыкнул, приняв их за обрубки кем-то убитых врагов. Он заглядывал через щели в исповедальни и недоверчиво ощупывал статуи святых: не притворились ли неживыми?

Убедившись, что вокруг никого нет, он на цыпочках подкрался к покойной и застыл перед ней в долгом и скорбном молчании. Он был заворожен ее красотой и, нежно коснувшись ее светлых пышных волос, резко отпрянул, боясь разбудить ее.

Почему она тогда пришла в такой ужас – в ту летнюю ночь на Зейдейк?

Ему это было непостижимо.

Ведь всякая женщина, которую он желал, будь то зулуска или белая, млела от гордости, когда он ею обладал.

Даже Антье из портового кабака, а ведь она тоже белая и с желтыми волосами!

И ни разу не пришлось прибегать к магии Виду, даже пальчиком не надо было манить, все они сами находили его и бросались ему на шею! Только не *эта*! Только не *она*!

А с какой радостью он отдал бы ради обладания ею всю

кучу денег, из-за которых задушил старика в бумажной короне.

Сколько ночей подряд после той драки с матросами он бродил по улицам в напрасной надежде найти ее – ни одна из уличных женщин, высматривающих в темноте мужчин, не могла ничего подсказать ему.

Он прикрыл ладонью глаза.

И в голове сумбурным сновидением пронесся поток воспоминаний: раскаленная земля родной саванны; английский торговец, заманивший его в Кейптаун, пообещав сделать королем некой Зулусии; плавучий дом, доставивший его в Амстердам; цирковая труппа презренных нубийских рабов, каждый вечер он должен был вместе с ними изображать воинственные пляски за гроши, которые у него почти всегда отнимали; каменный город, где сердце иссыхало от тоски по родине; и в этом людском скопище ни одного человека, с кем он мог бы поговорить на своем языке.

Он нежно гладил руку усопшей, и лицо его выражало боль безысходного одиночества. Если бы знала она, лежащая в гробу, что ради нее он оставил своего бога! Чтобы вновь увидеть ее, он призвал страшного суквияна – священного змея с человеческим лицом, чем подверг последнему испытанию свой дар, дававший ему силу ходить по раскаленным угольям, – и все потерял.

Его выгнали из цирка и без единого гроша отправили назад, в Африку, нищим, а не королем. Он спрыгнул с корабля

и доплыл до берега. Днем он прятался в баржах, груженных фруктами, а ночами бродил по Зейдейк, чтобы найти ее, ту, которую любил сильнее, чем свою саванну, черных женщин, чем свет солнца.

С тех пор лишь раз он видел грозного змея, тот явился ему во сне с жестоким приказом призвать Еву в дом соперника. И вот их свидание состоялось здесь, в церкви, где стоит ее гроб.

Убитый горем, он погрузил блуждающий взгляд в мрачное пространство храма: какой-то распятый человек на кресте, на голове колючий венок, руки и ноги пробиты железными гвоздями... голубка с зеленой ветвью в клюве... старик с большим золотым шаром в руке... юноша, пронзенный стрелами... Все это – чужие боги, он не знал их тайных имен, а потому не мог призвать... Но ведь должны же они обладать волшебной силой, чтобы оживить умершую! От кого же еще мог получить мистер Циттер Арпад магическую силу, позволявшую протыкать кинжалами собственное горло, проглатывать, а потом вновь извлекать куриные яйца?!

Искрой последней надежды показался ему образ темнолицой Мадонны. Вот она, истинная богиня, – у нее золотая диадема на голове. Черная богиня⁶⁸. Может, она поймет его язык?

Он присел на корточки перед образом, задержал дыха-

⁶⁸ Черная мадонна – распространенный в романскую эпоху образ Богоматери; связан с изображениями древнеегипетской Исиды с младенцем Гором на руках.

ние и замер, пока его уши не наполнил вопль поверженных врагов, которые в рабском подбострастии дожидались его у врат в мир иной. Он захрипел и проглотил свой язык, чтобы войти в царство, где человек может говорить с незримыми. И что же? Пустота.

Глубокий, непроницаемый мрак вместо мягкого зеленоватого света, к которому он привык. Он не мог найти путь к черной богине.

Негр медленно побрел назад и опустился на пол, свернувшись в клубок у изножия катафалка. Из его горла рвались звуки погребального песнопения зулусов.

Дикая жуткая литургия: то варварские гортанные стенания, то как ответ на них – глухое бормотание, напоминавшее легкий топот испуганных антилоп, и в этом потоке звуков можно было услышать пронзительный крик ястреба, хриплый отчаянный рык и кроткую жалобу, замиравшую в лесных дебрях, чтобы вернуться вновь надрывным плачем, переходившим в протяжный вой собаки у тела мертвого хозяина.

Потом он встал, сунул руку за пазуху и извлек белую цепочку – ожерелье из шейных позвонков задушенных жен вождя, знак царского достоинства повелителя зулусов, священный фетиш, дарующий бессмертие всякому, кто возьмет его с собой в могилу.

Этими чудовищными четками он обвил молитвенно сло-

женные руки покойной.

Дороже этой вещи для него не было ничего на свете.

К чему ему теперь бессмертие? Он обречен на неприка-
янность. И здесь, и в том мире Еву не примет небо черноко-
жих, а его – райский сад белых!

Послышался какой-то шорох. Негр насторожился, как го-
товый к прыжку зверь.

Никакой опасности.

Просто шуршание листвы увядающих венков.

Тут его взгляд переместился на свечу в изголовье ката-
фалка, и он увидел, как ее пламя затрепетало, клонясь в сто-
рону, будто задетое сквозняком.

Должно быть, кто-то вошел в церковь!

Один бесшумный прыжок – и негр оказался за колонной.
Он впился глазами в дверь ризницы. Дверь не шелохнулась.

Никого.

Обернувшись в сторону гроба, он увидел, что на месте
свечи высится каменный трон. На нем неподвижно восседал
сухопарый великан в короне из перьев⁶⁹ – уборе судьи умер-
ших, он был обнажен, лишь бедра укрыты полоской крас-
но-синего полотна. В руках он держал изогнутый жезл и бич.

⁶⁹ Перо Маат – перо Истины; в представлениях древних египтян украшало го-
ловы всех богов (судей) во время Загробного суда Осириса. Это перо (а не брон-
зовую статуэтку) клали на весы Истины для взвешивания сердца умершего.

Верховный бог древних египтян ⁷⁰. Его шею охватывала тонкая цепь с золотой табличкой. Напротив него, у самого гроба, стоял смуглый человек с головой ибиса ⁷¹. Он держал в руке зеленый анх – крест, увенчанный кольцом, символом Вечной жизни ⁷². По обе стороны от смуглолицего – еще две фигуры, одна с головой сокола, другая с головой шакала ⁷³. Зулус догадался, что все они явились, чтобы вершить суд над усопшей.

Богиня Истины в длинных облегающих одеяниях и с пером на голове выходила из глубины нефа. Она подошла к покойной, которая вдруг поднялась и выпрямилась, словно окаменев. Богиня вынула из нее сердце и положила его на чашу весов. На другую чашу человек с головой шакала поставил маленькую бронзовую статуэтку.

Сокол приступил к взвешиванию. Чаша с сердцем Евы опустилась к самому полу.

Человек с головой ибиса наносил тростниковой палочкой какие-то знаки на восковую дощечку.

⁷⁰ Бог Осирис. Здесь дано весьма приблизительное описание Загробного суда, или суда Осириса, каким он рисуется в мифологии египтян. По их представлениям, головы всех судей (богов) украшало перо Истины – перо Маат. Его же, а не бронзовую статуэтку, как сказано здесь, клали на чашу для взвешивания сердца на весах Истины.

⁷¹ Так изображался Тот, древнеегипетский бог мудрости, счета, письма.

⁷² Так выглядит иероглиф, означающий «жизнь».

⁷³ Гор (в египетской мифологии бог света, борющийся с силами мрака) и Ану-бис (бог – покровитель умерших; древние греки отождествляли Ану-биса с Гермесом).

И тут раздался голос верховного судьи: *Сочтена благочестивой и ни в чем не прегрешившей перед Владыкой Богов, а потому достойна Царства Истины и оправдана.*

Пусть пробудится живой богиней и воссияет в сонме небожителей, ибо она нашего рода.

После этих слов трон начал опускаться, и великан скрылся под каменным полом. Два бога встали по обе стороны от Евы. Тот, что с соколиной головой, двинулся вперед. Все они молча подошли к стене и исчезли, точно она поглотила их.

Свечи превратились в темнокожие фигуры с огненными гребнями над головами. Они положили на гроб крышку.

Раздался скрежет – это винты вошли в гробовую доску.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Студеная угрюмая зима проползла по Голландии, оставив на равнинах свой белый саван, и медленно, нехотя отступала, а весна все не шла ей на смену.

Казалось, земля уже не в силах пробудиться.

Смурные майские дни шли однообразной чередой, луга не подавали признаков жизни.

Деревья голо чернели, на ветвях ни намек на почки, корни по-прежнему уходили в мерзлоту. Куда ни глянь, всюду темные мертвые поля с побуревшей прошлогодней травой. Зловещее безветрие. Море, как мутное стекло. За несколько месяцев ни капли дождя. По ночам трудно дышать, утром никаких следов росы.

Часы природы как будто не желали больше тикать.

Цепенящий ужас перед какими-то грозными событиями, раздуваемый кликушеством безумных проповедников покаяния, уличных псалмопевцев, охватил все население, как в страшные времена анабаптистов.

Говорили о грядущем гладе и о конце света.

Хаубериссер съехал со своей квартиры на Хойхрахт и жил в низине на юго-восточной окраине Амстердама. Он жил, сторонясь людей, и дом его стоял на отшибе. Это было допотопное строение, про которое ходила легенда, что он стоит

на каменном алтаре друидов. Тыльной стороной он вплотную примыкал к пологому холму, тянувшемуся среди изрезанного каналами слотермеерского польдера⁷⁴.

Этот пустующий дом он заметил, возвращаясь с похорон Евы, в тот же день, не долго думая, решил снять его и в течение зимы занимался обустройством нового жилья. Теперь ему хотелось быть только наедине с собой, вдали от людской суеты, от этого мельтешения призрачных теней.

Из окна он мог видеть город с его мрачными островерхими строениями на фоне целого леса корабельных мачт. И Амстердам казался ему смрадным, ощетинившимся чудовищем. Когда он подносил к глазам бинокль, приближая к себе вид города с двумя шпилями церкви св. Николая и бесчисленными башнями, всякий раз возникало невероятно странное ощущение: будто перед ним не реальные вещи, а овеществленные мучительные воспоминания, которые норовят схватить его безжалостными руками... Но они молниеносно таяли и вместе с силуэтами домов и крыш поглощались туманной далью.

На первых порах он приходил иногда на могилу Евы – кладбище находилось неподалеку, – но это всегда было чем-то вроде ритуала, совершаемого механически, с пустой головой, прогулки ради. Когда он пытался представить себе, что она лежит там, в земле, эта мысль казалась настолько нелепой, что зачастую он забывал возложить на холмик прине-

⁷⁴ *Польдер* – осушенная часть озера (*нидерл.*).

сенные цветы и уходил с ними домой. Понятие «душевная боль» стало для него пустым звуком и уже не соответствовало его эмоциональному состоянию.

Размышляя порой над этой странной метаморфозой своего существа, он испытывал страх перед самим собой.

Именно в таком настроении он сидел как-то вечером у окна и смотрел на заходящее солнце. Перед домом на бурой помертвелой лужайке торчал засохший тополь, ландшафт оживлял, подобно оазису, лишь зеленеющий вдали остров травостоя с роскошно цветущей яблоней – единственный признак настоящей жизни во всей округе. Для местных крестьян он стал местом паломничества, вроде как чудом Пресвятой Девы.

«Человечество – вечный Феникс. В ходе столетий оно обратилось в пепел, – размышлял он, озирая безотрадный пейзаж, – но восстанет ли *вновь?*»

Однажды, раздумывая о явившемся ему Хадире Грюне, он вспомнил, как тот сказал, что оставлен на земле, чтобы «давать».

«А что делаю я? Я стал мертвецом, как засохшее дерево, как этот тополь. Есть вторая, потаенная жизнь, но кто о ней знает, кроме меня? Сваммердам указал мне путь, неизвестный подвел к нему своими наставлениями в дневнике, и я питаюсь плодами, которые судьба сама положила мне в рот!

... Даже лучшие друзья, Пфайль и Сефарди, не догадываются о том, что со мной происходит. Они думают, я запер себя в четырех стенах и скорблю о Еве... Да, люди представляются мне слепцами, блуждающими в дебрях бытия, да, они напоминают гусениц, ползущих по его дну и не ведающих, что они – завтрашние мотыльки, но разве это дает мне право сторониться их?»

И он загорелся желанием сей же час отправиться в город, встать на людном перекрестке, как один из этих гастролирующих пророков, провозвестников Судного дня, и крикнуть в уши толпы о том, что есть мост, который соединяет две жизни, два мира: по эту и по ту сторону бытия. Фортунат уж было вскочил, полный решимости исполнить это желание, но спустя минуту рассудил иначе: «Что толку метать бисер перед свиньями? Разве толпа поймет меня? Ей подавай сходящего с небес Господа, которого она сможет продать и распять. А те избранники, которые ищут путь, чтобы спасти *са-мих себя, эти* и слушать меня не станут... Нет. Щедрые на истины крикуны вышли из доверия». И он невольно вспомнил Пфайля, который обронил однажды, что неплохо бы поинтересоваться у него самого, хочет ли он принимать щедроты. «Нет, пустая затея, – окончательно решил он. – Странное дело, чем богаче у человека душевный опыт, тем труднее передать его другим. Я все больше удаляюсь от людей, и наступит час, когда они вовсе не услышат мой голос».

Он понял, что уже почти подошел к этой границе...

Мыслями Фортуната вновь завладели дневник и те обстоятельства, при которых он попал к нему в руки. «Я продолжу его описанием моей жизни. И пусть судьба решит, что из этого получится. Возможно, Он, сказавший мне, что оставлен на земле для того, чтобы дать каждому то, чего он жаждет, сохранит это как мое завещание и передаст его в руки тех, для кого оно может быть благотворно, для взыскующих внутреннего пробуждения. Если хоть один человек благодаря моим усилиям будет пробужден для бессмертия, значит, моя жизнь не лишена смысла. Стало быть, надо поддержать изложенное в рукописи учение описанием собственного опыта, а потом отнести свиток в мою прежнюю квартиру и положить в ту самую нишу, из которой он выпал, свалившись мне на голову». С этим намерением он сел за стол и написал:

«НЕИЗВЕСТНОМУ, КОТОРЫЙ ИДЕТ ВСЛЕД ЗА МНОЙ

Когда ты прочтешь эти строки, рука, которой они были написаны, быть может, уже истлеет. Предчувствие не обманывает меня: они окажутся у тебя перед глазами в тот момент, когда будут крайне необходимы тебе, подобно якорю, без которого не спастись от рифов кораблю с изорванными парусами.

В дневнике, продолженном моими записями, ты

найдешь учение, которое содержит все, что нужно человеку для перехода в новый, исполненный чудес мир.

Это дополнение представляет собой всего лишь описание моей жизни и тех духовных состояний, которых я достиг благодаря учению. Если эти строки помогут укрепить уверенность в том, что воистину существует некий потаенный путь, выводящий человека из мира смертных, цель моих усилий будет достигнута.

Я пишу эти строки в такую ночь, которая наполнена дыханием грядущих ужасов, и они грозят не мне, а бесчисленным душам, не созревшим на древе жизни. Не знаю, увижу ли я живыми глазами „первый час" новой эры, который упоминается моим предшественником: возможно, эта ночь станет для меня последней. Но покину ли землю уже поутру или спустя годы, как бы то ни было, я протягиваю свою руку в будущее, где она на ощупь найдет твою. Ухватись за нее, как я ухватился за руку своего предшественника, дабы не оборвалась цепь „учения о бодрствовании", и передай унаследованное дальше!»

Уже глубокой ночью он подошел в своем жизнеописании к тому моменту, когда Хадир Грюн предостерег его от самоубийства.

Погруженный в раздумья, Фортунат шагал из угла в угол. Он чувствовал, что приблизился к великой пропасти, раз-

деляющей познавательные возможности нормального человека, пусть даже наделенного богатой фантазией, пусть даже созревшего для веры, и человека, духовно пробужденного.

Да и есть ли такие слова, которыми хотя бы приблизительно можно описать то, что испытал и переживал он в почти непрерывном напряжении сознания. Он долго колебался, решая, завершить ли рукопись описанием похорон Евы. Потом направился в соседнюю комнату, чтобы достать из чемодана серебряную капсулу, которую заказал специально для свитка. Роясь в вещах, он натолкнулся на картонный череп, купленный год назад в «салоне».

Фортунат задумчиво разглядывал его при свете лампы, и опять в голове пронеслась та давняя мысль: «Обрести вечную улыбку труднее, чем на всех кладбищах земли отыскать мертвый череп, который ты носил на плечах в прежней жизни».

Но теперь она звучала, словно обетование, что улыбаться он научится в беспечальном будущем.

И прошедшая жизнь с ее изнуряющими желаниями и порывами показалась ему настолько чужой и далекой, как будто все это происходило не в его голове, а вот в этой нелепой и все же вещей штуковине из папье-маше. Он невольно улыбнулся при мысли, что держит в руке собственный череп.

Мир вокруг уподобился набитой всяким хламом «волшебной» лавке.

Он снова взялся за перо и записал: «Когда Хадир Грюн ушел от меня, а вместе с ним непостижимым образом меня оставила и всякая скорбь о Еве, я хотел подойти к постели и покрыть поцелуями руки любимой и тут увидел, что перед кроватью стоит на коленях какой-то человек, прикинув губами к холодным рукам усопшей, – я с изумлением узнал в нем мое собственное тело. Самого себя я уже видеть не мог. Я попытался оглядеть свою фигуру, но ничего не получилось, на ее месте было пустое пространство. В тот же миг он поднялся и начал рассматривать свое тело, начиная с ног, то есть повторил все мои движения. Создавалось впечатление, что это – моя тень, которая движется так, как распорядюсь я.

Я склонился над умершей – и он сделал то же самое, наверное, при этом он сильно горевал... не знаю. Для меня покойница, с застывшей улыбкой возлежавшая на смертном ложе, была трупом незнакомой, ангельски прекрасной девушки, некой восковой фигурой, которая не трогала моего сердца, статуей, как две капли воды похожей на Еву, но все же всего лишь ее личиной.

Я почувствовал себя настолько счастливым оттого, что умерла не Ева, а какая-то незнакомка, что утратил дар речи от радости.

Потом в комнате появились три фигуры. Я узнал в них своих друзей и увидел, как они приближаются к моему телу, желая утешить его, но оно, будучи лишь моей тенью, улыбалось и ничего не говорило в ответ.

Да оно ни звука вымолвить, ни пальцем шевельнуть не могло без моего приказа.

Мои друзья и все те, кого я видел потом в церкви и на кладбище, стали тоже для меня такими же, как и мое тело. Катафалк, лошади, процессия с факелами, венки, дома, мимо которых мы проходили. . . кладбище, земля, небо и солнце – все это было контурной конструкцией, лишенной внутренней жизни. Все предстало, как в цветном сне, а я упивался счастьем, зная, что вся эта мишура никак меня не касается.

С тех пор я чувствую себя свободным как никогда и знаю, что заглянул за порог смерти. Я видел, как мое тело отходит ко сну, слышал его ровное дыхание, но сам-то я при этом бодрствовал. Оно закрывает глаза, а я вижу все и нахожусь там, где захочу. Когда оно перемещается, я могу отдохнуть, а когда отдыхает оно, я могу двигаться. Мне ничто не мешает воспользоваться собственным „телесным" зрением и слухом, если будет охота, однако в таком случае все вокруг становится тусклым и безрадостным, а сам я становлюсь таким же, как все люди.

Мое состояние, когда я освобождаюсь от тела и воспринимаю его как тень, автоматически исполняющую мои повеления и участвующую в призрачной жизни, настолько странно и неизъяснимо, что не поддается описанию, я не знаю, как тебе передать его.

Вот представь себе: ты сидишь в каком-нибудь синематографе, у тебя самое прекрасное настроение, поскольку тебя

только что чем-то неожиданно обрадовали, а на экране ты видишь своего двойника, принимающего муку за мукой и сраженного горем у смертного одра своей возлюбленной, но тебе-то прекрасно известно, что она не умерла, а ждет тебя дома, при этом звуковой аппарат твоим же голосом исторгает вопли боли и отчаяния... Неужели тебя захватило бы такое действие?

К сожалению, ничего, кроме этой грубой аналогии, я не могу придумать для описания ощущений, которые желаю тебе испытать самому.

Тогда ты узнаешь, как теперь знаю я, что есть возможность избежать смерти.

Ступень, на которую мне удалось подняться, означает великое одиночество, о чем говорится в дневнике моего предшественника. Наверное, оно стало бы для меня еще более жестоким наказанием, чем земная жизнь, если бы на этом оборвалась ведущая ввысь лестница, но окрыляющая уверенность в том, что Ева не умерла, поднимает меня все выше.

Пусть я пока еще не могу ее видеть, зато я знаю: надо сделать всего лишь небольшой шаг на пути пробуждения, и я буду с ней, и мы станем воистину близки, как никогда прежде. Нас разделяет только тонкая стена, настолько тонкая, что через нее мы уже можем ощутить нашу близость.

Сейчас моя надежда найти возлюбленную неизмеримо глубже и несокрушимее, чем в то время, когда я ежечасно

призывал ее.

Тогда было мучительное ожидание, теперь оно сменилось счастливой уверенностью.

Существует невидимый мир, пронизывающий мир зримый, я чувствую непреложную истину: Ева живет в нем, как в некоем сокровенном обиталище, и ждет меня.

Если твоя судьба будет подобна моей и на твою земную долю выпадет потеря любимой, не думай, что ты сможешь обрести ее каким-то иным путем, нежели „Путь пробуждения“.

Поразмысли над словами Хадира: „Кто не научился видеть на земле, там не научится и подалее“.

Как ядовитых плодов, остерегайся спиритизма. Это самая страшная чума в истории человечества. Спириды тоже утверждают, что общаются с умершими, думают, что те приходят к ним. Химера! И хорошо, что они не знают, кто спускается к ним. Если бы знали, их объял бы смертельный ужас.

Но прежде чем ты найдешь путь, ведущий к незримым, и обретешь способность жить и „здесь“, и „там“, ты должен будешь сам стать незримым даже для своих „физических“ глаз.

Я еще не одолел той ступени, с которой мне был бы виден мир нездешний, но я знаю: все, покинувшие землю слепцами, не достигли его. Они, как отзвучавшие и затерянные в мировом пространстве мелодии, обреченные скитаться в нем до тех пор, пока опять не падут на струны, чтобы зазвучать.

чать вновь. То, что эти слепцы мнят своим местопребыванием, на самом деле вовсе не место, а некий гипотетический пункт, призрачный остров теней, гораздо менее реальный, чем даже земля.

Поистине бессмертен только *пробужденный* человек, звезды и Боги появляются и уходят. Лишь он один был, и пребудет, и может вершить все, что задумает. И нет над ним Господа.

Недаром наш путь называется языческим. То, что верующий мыслит Богом, есть лишь состояние, которого он мог бы достичь, если бы был способен верить в самого себя, но, неисцелимый слепец, он сам ставит перед собой преграду, через которую не отваживается перепрыгнуть, он сотворяет себе образ для поклонения, вместо того чтобы стать этим образом.

Если хочешь молиться, молись самому себе, своему незримому существу. Это – единственный Бог, который внемлет молитвам: другие подают камни вместо хлеба.

Горе тому, кто молится идолу и чья молитва услышана, – он теряет самого себя, внутренне опустошается, ибо уже никогда не сможет поверить в то, что молитва предназначена лишь для собственного внутреннего слуха.

Если твое невидимое существо откроется тебе как *сущность*, ты постигнешь, что оно отбрасывает тень. Я тоже не знал, кто я, до тех пор пока тело не стало тенью перед моим взором.

Забрезжут новые времена, когда человечеству будут сопутствовать на земле светозарные тени, а не постыдные черные подобия. На небосклоне заблещут новые звезды. Будь и ты частицей света!»

Хаубериссер порывисто поднялся, свернул листы и вложил их в серебряную капсулу. У него было такое ощущение, будто кто-то торопит, подгоняет его.

Небо уже стало светлеть, но за окном разливался свинцовый полумрак, в котором можно было разглядеть пустошь, устланную сухой травой, словно темным шерстяным ковром с серыми полосками каналов.

Он вышел из дома, но, не успев начать путь в Амстердам, отказался от своего плана спрятать документ в квартире на Хойхрахт и вернулся в дом за лопатой. Какое-то чувство подсказывало ему, что рукопись должна быть зарыта, причем где-то поблизости.

Но где именно?

На кладбище?

Он было двинулся туда...

Нет, это тоже неподходящее место.

Его взгляд упал на цветущую яблоню. Он подошел к деревцу, выкопал рядом яму и зарыл в нее капсулу.

А потом быстрым шагом поспешил в город, он почти бежал по лугам и мостикам, едва различимым в рассветной мгле. Его гнало внезапное предчувствие неведомой опасно-

сти, угрожающей его друзьям. Надо было во что бы то ни стало предупредить их.

Несмотря на ранний час, воздух был горяч и душен, как перед грозой.

В зловещей тишине местность производила столь жуткое впечатление, что казалась каким-то вымершим миром. Солнце напоминало тусклый латунный диск, утонувший в толще испарений, а далеко на западе, над морем, пылала гряда облаков, словно утро превратилось в вечер.

Фортунат боялся опоздать, сам не понимая причин своей тревоги, он как мог сокращал дорогу, срезал углы, шагал то через поля, то по безлюдным большакам, но город как будто не хотел приближаться.

Постепенно, когда уже окончательно рассвело, небо приняло иной вид: белесые облака стали скручиваться и извиваться, как некие червеобразные существа, словно ими повелевали невидимые вихри, но при этом как бы топтались на одном месте. Казалось, вступили в бой какие-то воздушные монстры, выпущенные из космоса.

Крутящиеся воронки, похожие на опрокинутые кубки, повисли в небесной выси; звериные морды с ощеренными клыками сталкивались в жестокой схватке и сжимались в грозовой ком. А на земле царило все то же мертвенное, зловещее безветрие.

С юга со скоростью урагана надвигался какой-то черный клин, он затмил солнце, на несколько минут погрузив землю

в ночную тьму, а затем косым ливнем хлынул вниз у самого горизонта – это была огромная туча саранчи, сорвавшаяся с берегов Африки.

За все время пути Хаубериссер не встретил ни одного живого существа, и вдруг на повороте из-за узловатых ивовых стволов показалась человеческая, но слишком уж большая, сторбленная фигура в долгополом одеянии.

Издали Фортунат не мог разглядеть лица, но по осанке, по одежде и силуэту головы с длинными свисающими пейсами он сразу же узнал старого еврея, шагавшего ему навстречу.

Чем ближе тот подходил, тем нереальнее выглядел. Ростом он был не менее семи футов, ноги при ходьбе не двигались, вся фигура отличалась каким-то зыбким, изменчивым контуром. Хаубериссеру даже показалось, что на мгновение от нее отделялась какая-нибудь часть тела – рука или плечо, – чтобы тут же прирасти снова.

Спустя несколько минут старик сделался почти прозрачным, как будто это был не самум, состоящий из множества черных песчинок, а человек из плоти и крови. И когда он бесшумно пролетел мимо в нескольких шагах от Хаубериссера, тот разглядел, что это – туча летающих насекомых, загадочным образом принявшая вид человеческой фигуры, подобная той непостижимой игре природы, которую он наблюдал в Амстердаме, когда пасечник ловил пчелиный рой.

Он долго смотрел вслед этой туче, с нарастающей скоростью удалявшейся на юго-запад, в сторону моря, пока она не

растаяла как дым на горизонте.

Фортунат терялся в догадках. Что это за феномен? Некий таинственный знак или случайная гримаса живой стихии?

Не очень-то верилось, что столь фантастическую форму мог выбрать Хадир Грюн, дабы обрести зримый образ.

Погруженный в раздумья, Фортунат вошел в Западный парк и быстро, насколько хватало сил, двинулся к дому Сефарди, в сторону Дамрака. Издалека донесся какой-то гвалт, не иначе как что-то стряслось.

Вскоре он увидел толпы возбужденных людей, заполнивших большие улицы. Это был настолько плотный строй, что пробиться сквозь него не представлялось возможным, и Фортунат решил пройти улочками еврейского квартала.

По площадям косяками ходили активисты Армии спасения, вознося молитвы или горланя псалом: «Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном граде!» Мужчины и женщины в религиозном исступлении срывали друг с друга одежды, с пеной у рта бухались на колени, возглашали: «Аллилуйя!» и тут же отпускали непристойные шутки. Фанатичные монахи с истерическим хохотом до крови полосовали бичами свои голые спины. Тут и там, дико крича, бились и катались по мостовой припадочные. Приверженцы каких-то безумных вероучений выражали «смирение перед Господом», для чего становились на четвереньки и на глазах у растроганных, обнаживших головы зрителей скакали лягушками, прикваживая: «Помилуй нас,

Задыхаясь от ужаса и отвращения, Хаубериссер блуждал по кривым переулкам. Его то и дело сбивали с пути всё новые толпы, пока людской поток не вынес на Йоденбреестраат, к дому, похожему на череп.

Окна «салона-иллюзиона» были наглухо закрыты жалюзи, вывеска отсутствовала. Перед входом возвышался позолоченный деревянный помост с тронem, на котором восседал «профессор» Циттер Арпад в горностаевой мантии и в усыпанной бриллиантами диадеме, подобно нимбу осенявшей смуглый лоб. Он бросал в обезумевшую от восторга толпу медные монеты со своим изображением и держал заглушаемую криками «Осанна!» речь, в которой снова и снова повторялся кровожадный призыв: «Бросайте в огонь блудниц и несите мне грешное золото!»

С великим трудом Фортунату удалось пробиться к перекрестку.

Он попытался сориентироваться, но тут кто-то схватил его за рукав и увлек под арку. Он узнал Пфайля.

Силиясь перекричать толпу, они кое-как выяснили, что оба прибыли в город, можно сказать, с одним и тем же намерением, но тут их вновь оттерли в разные стороны.

– Иди к Сваммердаму! – крикнул Пфайль. Они не могли замедлить шаг, даже крохотные

⁷⁵ Пс. 30: 22.

дворики и проулки кишели народом, и, заметив хоть малейшую брешь в людской стене, они не упускали случая приблизиться друг к другу и летели вперед, на ходу обмениваясь торопливыми репликами.

– До чего гнусный тип этот Циттер!... – Пфайль то выныривал из толпы, то снова исчезал. – Полиция практически бездействует и не может воспрепятствовать его непотребству... Ополченцев и след простыл... Мерзавец выдает себя за пророка Илию, а публика верит и готова молиться на него. Недавно он устроил в цирке настоящую кровавую баню... Народ брал балаган штурмом... Этот безумец вытащил на арену каких-то якобы приличных иностранок – дамочек полусвета, разумеется, – и спустил на них тигров... Забавы во вкусе римских императоров... Прямо Нерон какой-то... Он женился на мадам Рюкстина, а потом, чтобы заполучить деньги несчастной идиотки, ее отра...

«Отравил», – догадался Хаубериссер, хотя голос Пфайля тонул в нарастающем гуле: их разделила процессия поющих фигур с'надвинутыми на лица белыми остроконечными капюшонами. Эти призраки, похожие на членов тайного судилища, держали в руках факелы и бубнили слова хорала: «O sanctissima, o pi... issima, dulcis virgo Маа... riii... aah!⁷⁶»

Пфайль вынырнул снова, его лицо потемнело от факельной копоти.

– А вскоре он проиграл ее деньжата в покер... А потом

⁷⁶ «О, пресвятая, мило...серднейшая, благодатная Дева Мария!» (лат.)

месяцами подвизался в качестве медиума на спиритических сеансах... Народ валом валил. Весь Амстердам у него перебывал.

– Как Сефарди? – крикнул Фортунат.

– Он уже три недели в Бразилии! От него тебе тысяча приветов. Он очень изменился, еще до отъезда... А вообще, я мало что о нем знаю. Только то, что ему явился некто с зеленым ликом и наказал основать в Бразилии еврейское государство, еще сказал, что евреи как единственный рассеянный по всему миру народ призваны создать язык, который со временем станет средством интернационального общения и сближения всех народов земли. Нечто вроде модернизированного древнееврейского, как я понимаю... А впрочем, Бог его знает... С того момента Сефарди просто преобразился... Сказал, что теперь у него особая миссия... Но идея сионистского государства оказалась для него как яичко к Христову дню. Почти все голландские евреи последовали за ним, и теперь целый поток переселенцев из разных стран хлынул на побережье Южной Америки, словно туча термитов...

Они ненадолго потеряли друг друга из виду, разделенные вереницей голосящих женщин с молитвенниками в руках.

При словах «туча термитов» Хаубериссер невольно подумал о странном феномене, который наблюдал на подходе к городу.

– В последнее время Сефарди тесно общался с неким Лазарем Айдоттером, с которым я тоже успел познакомиться, –

продолжал Пфайль. – Это старый еврей, своего рода пророк. Сейчас почти не выходит из состояния отрешенности. Впрочем, его пророчества всякий раз сбывались. Недавно предсказал страшную катастрофу европейского масштаба – великий канун новых времен. Говорит, что рад погибнуть вместе со всеми, ибо тогда ему посчастливится проводить многих умерших в царство истинного богатства... А что касается катастрофы, он, пожалуй, не ошибся... Посмотри, что творится вокруг. Амстердам в ожидании всемирного потопа. Все человечество свихнулось... Железные дороги простаивают. Иначе я бы выбрался к тебе, в твой Ноев ковчег. Сегодня, похоже, самый разгул безумия... Мне надо так много рассказать тебе... Господи, какой бедлам... Какие уж тут рассказы... А между тем я столько всего пережил...

– А что Сваммердам? Как он? – Фортунат пытался перекричать завывание ползущих на коленях бичующихся братьев.

– Он просил через посыльного, – кричал в ответ Пфайль, – чтобы я пришел к нему и привел с собой тебя... Хорошо, что мы встретились по дороге. Он боится за нас, велел передать, что лишь рядом с ним мы будем в безопасности... Уверяет, что сокровенное слово открыло ему три пророческих истины. Одна из них предрекает, будто он переживет церковь св. Николая... Из этого он, видимо, заключил, что заговорен от грядущей катастрофы, и хочет, чтобы мы были поблизости, тогда он сможет и нас спасти для новых времен...

Это были последние слова, которые удалось расслышать Фортунату. Резкий оглушительный крик со стороны площади, к которой они двигались, потряс воздух и, перейдя в пронзительные вопли, взмыл к самым верхним этажам и прокатился по всему городу.

– Новый Иерусалим на небеси!

– Чудо великое! Чудо!

– Господи, помилуй нас!

По искаженным в крике губам Пфайля Фортунат догадался, что друг хочет еще что-то сообщить ему, но он не мог противиться напору толпы и вскоре был вынесен на Биржевую площадь. Его так сильно стиснули со всех сторон, что он не мог шевельнуть Рукой. Все, кто окружал его, остолбенели, запрокинув головы в небо.

В самой вышине кружили, атакуя друг друга, странные, похожие на крылатых рыб, сгустки тумана, ниже громоздились сверкающие белоснежными шапками горы облаков, а между ними в долине, освещенной косыми лучами солнца, был виден незнакомый южный город с плоскими крышами и мавританскими арочными проемами в стенах.

Гордые смуглолицые мужи в развевающихся бурнусах величаво шагали по глиняным мостовым в такой ужасающей близости, что можно было видеть движение глаз при повороте головы, при этом казалось, что они равнодушно поглядывают вниз, на амстердамское безумие... За городскими стенами раскинулась красноватая пустыня, края которой сти-

рались облаками, а по пескам в мерцающей воздушной зыби призрачной чередой шел караван.

Эта сказочно-яркая фата-моргана держалась в небе, наверное, не менее часа, потом она стала блекнуть, и вскоре остался лишь высокий, сияющий сахарной белизной минарет, а потом и он вдруг утонул в облаках.

Только ближе к вечеру Хаубериссер, держась за стены домов, сумел кое-как выплыть из людского моря и, перейдя через канал, окончательно выбрался из толчеи.

Попасть к Сваммердаму было уже невозможно, так как на пути к нему пришлось бы еще раз пробиваться сквозь толпы на тех же улицах и пересечь Биржевую площадь. И Фортунат решил вернуться в свое уединенное жилище и дожидаться более удобного случая.

Он опять погрузился в мертвую тишину лугов. Все поднебесное пространство было заполнено какой-то непроницаемой пыльной массой.

Ощущение пустынности было настолько сильным, что, спеша домой, он слышал лишь шуршание сухой травы под ногами и шум в ушах.

Позади лежал черный Амстердам, напоминавший в закатном зареве сгустки пылающей смолы.

Полнейшее безветрие, на дамбах – багровые полосы, все вокруг вымерло, лишь иногда раздавался вялый всплеск рыбы.

Когда опустились сумерки, пустошь словно подернулась движущимся пеплом – из нор повылезали полчища мышей, с писком забегавших по земле.

Чем темнее становился ландшафт, тем стремительнее нарастала разлитая в природе тревога, хотя ни один стебелек вокруг, казалось, был не в силах даже шелохнуться.

На водах цвета болотной жижи временами возникали маленькие воронки, хотя воздух над поверхностью был совершенно неподвижен, или вдруг расходились круги, будто кто-то бросал невидимые камешки, но через секунду-другую вновь мерцала мрачная гладь.

Хаубериссер уже мог различить в темноте силуэт голого тополя возле своего дома, как вдруг между Фортунатом и деревом выросли взметнувшиеся до неба какие-то белесые столбы. Призрачными громадами они беззвучно двинулись к нему, оставляя на земле борозды вырванной травы, и устремились в сторону города.

Эти смерчи миновали его без всякого шума, подобно безмолвным, коварным, смертоносным духам атмосферы.

Обливаясь потом, Хаубериссер вошел в дом.

Жена кладбищенского садовника, прислуживавшая Фортунату, усадила его поужинать. Но кусок не шел в горло.

Все еще взбудораженный, он, не раздеваясь, лег, чтобы провести несколько бессонных часов до наступающего утра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мучительно тянулись часы, и ночь как будто не собиралась отступить.

Наконец взошло солнце, однако небо напоминало черную бездну, только на окоеме вспыхнула яркая, желтая, как сера, полоса, словно землю накрыло темное полушарие с раскаленными краями.

Тусклый полумрак растекался по низине. Тополь за окном, кусты вдалеке и башни Амстердама матово серели, как будто в свете запыленного прожектора. А внизу лежали луга, похожие на большие мутные зеркала.

Хаубериссер смотрел в бинокль на замерший в страхе город, который едва высвечивался на темном фоне и, казалось, ожидал в любой момент принять смертельный удар.

Звон колоколов, робкий и словно деревянный, пробился сквозь загустевший воздух и вдруг умолк. Послышался глухой шум, и тополь с скрипом пригнулся к земле. Ее хлестали яростные порывы ветра, вычесывая жухлую траву и с корнем вырывая голые низкие кусты.

Через несколько минут вся округа исчезла в чудовищном облаке пыли и затем вновь показалась – изменившейся до неузнаваемости. По земле бежали валы белой пены, высоко в воздухе кружились мельничные крылья, оторванные ветром, а изуродованные мельницы пенками торчали из земли.

Буря завывала почти без умолку, и вскоре был слышен уже непрерывный рев.

Она усиливалась с каждой секундой. Цепко впившийся в почву тополь согнулся почти под прямым углом и застыл под напором ветра, срезавшего с него все сучья.

Только яблоня оставалась нетронутой, словно защищенная от урагана невидимой рукой, и ни один цветок и лист не дрогнули на ней.

Мимо окна проносились бревна и камни, обломки домов и целые простенки, стропильные балки и глыбы земли – как нескончаемый поток снарядов, изрыгаемых чудовищными катапультами.

Потом небо вдруг посветлело, и над землей нависло серебристое марево.

Хаубериссер подумал, что ураган стихает, но тут в ужасе увидел, как с тополя слезает кора и ее размочаленные лоскутья исчезают во мраке. Почти в тот же миг он заметил, еще не поняв, что происходит, как высоченные фабричные трубы на юго-западе гавани падают, сломавшись у самого основания, но ветер не дает им упасть, подхватывая и пуская в полет, как тонкие копья из густой белой пыли.

Церковные башни рушились одна за другой, ураган превращал их в столбы щебня и пыли, унося вдаль, где они становились лишь точками на горизонте и пропадали вовсе.

Вскоре вся местность приняла вид картины, густо заштрихованной горизонтальными линиями – несущимися с неве-

роятной быстротой прядями вырванной травы.

Кладбище, должно быть, тоже было стерто с лица земли: за окнами пролетали надгробные камни, доски от гробов, кресты и железные могильные фонари. Все это проносилось, не меняя направления, и на одной и той же высоте, будто в состоянии невесомости.

Хаубериссер слышал, как трещат балки перекрытия, – казалось, крыша вот-вот рухнет. Он хотел спуститься и проверить запоры входной двери, чтобы ее не сорвало с петель. Но на пороге комнаты он повернул назад: внутренний голос предупреждал – стоит только опустить дверную ручку и сквозняк выдавит стекла окон, а ворвавшийся вихрь мгновенно превратит весь дом в крутящуюся грудку мусора.

И покуда холм защищал его от буйства стихии, а запертые двери изолировали комнаты друг от друга, наподобие сотов в улье, дом еще мог сопротивляться уничтожению.

Воздух в комнате был холодным и разреженным, словно его вытягивало; спорхнувший с письменного стола лист бумаги подлетел и присосался к замочной скважине.

Хаубериссер вновь подошел к окну. Теперь буря напоминала бешеный поток, вода перехлестывала через дамбы и рассеивалась в воздухе; луга лежали рваным ковром из серебристого бархата, а там, где стоял тополь, торчал пенек с выющим на ветру хохолком распущенной древесины.

Шум был таким однотонным и оглушительным, что Форунату показалось, будто наступила мертвая тишина.

И только взяв молоток и гвозди, чтобы укрепить дребезжащее окно, которое в любой момент могло быть продавлено ветром, и не услышав ударов молотка, он понял, какая масса звука навалилась на землю.

Он долго не отваживался бросить взгляд на город, боясь, что не увидит уже церкви св. Николая и дома по соседству, где находились Сваммердам и Пфайль. И когда он все же заставил себя взглянуть, то увидел целой и невредимой вознесшуюся к небу башню, хотя и стояла она на острове из руин. Почти все пространство, еще час назад обозначенное зубчатым рельефом крыш, было превращено в заваленную обломками равнину.

«Много ли городов уцелело в Европе? – содрогаясь, подумал он. – Амстердам просто стесан, как размякший камень. Прогнившая культура стала грудой мусора».

Он вдруг осознал ужас случившегося во всем его масштабе.

Впечатления вчерашнего дня, вызванный ими упадок сил и внезапная катастрофа – все это притупило его восприятие, и лишь теперь оцепенение прошло и вернулась ясность мысли.

Он потер рукой лоб. «Уж не приснилось ли мне это светопреставление?»

Взгляд упал на яблоню, которая, словно хранимая неисповедимым чудом, стояла, как и прежде, в полном цвету. Рядом с ее корнями он закопал вчера свиток, вспомнил Фор-

тунат, и ему показалось, будто с тех пор прошла целая вечность.

Не сам ли он писал, что обладает способностью отделяться от собственного тела?

Почему же он не сделал этого? Вчера, минувшей ночью или утром, когда разразилась буря? Почему он не делает этого сейчас? На какой-то миг ему удалось обрести свою удивительную способность – он увидел собственную фигуру у окна как призрачное, чужое существо. Но мир вокруг, несмотря на все опустошения, уже не был призрачной мертвой картиной, как прежде в подобных состояниях. Перед ним простиралась новая земля, охваченная дрожью пробуждения, набирала силу роскошная весна, словно доступное взору далекое будущее...

Предощущение несказанного счастья вздымало грудь Фортуната. Все вокруг виделось с поразительной ясностью... А цветущая яблоня? Разве это не Ха-дир, Вечно Зеленеющее Древо?

И тут Хаубериссер вновь слился со своим телом, за окном продолжался разгул стихии, но теперь он знал, что за картиной всеобщего разрушения скрывается новая земля, страна сбывающихся надежд, которую он только что видел глазами своей души.

Его переполняла радость ожидания. Он сердцем чувствовал, что поднимается на последнюю, высшую ступень пробуждения, что Феникс в нем расправил крылья для полета в

выси эфира. Близость событий, простирающихся за пределы земного опыта, ощущалась так явственно, что Фортунат едва мог дышать от волнения, почти так же, как тогда, в парке Хилверсюма, когда он целовал Еву: тот же ледяной холодок, навеваемый крыльями ангела смерти, но теперь это было чудесным ароматом ожидания грядущей нетленной жизни.

Слова Хадира: «Ради Евы я помогу и тебе обрести любовь непреходящую!» вновь коснулись его слуха, будто их прокричала цветущая яблоня.

Он подумал о бесчисленных погибших горожанах, погребенных под руинами сметенного ураганом Амстердама, но в его сердце не было скорби. «Они будут возвращаться к жизни, пусть даже в ином обличье, пока не обретут последнюю и высшую форму – ипостась пробужденного человека, которому не грозит смерть. И природа будет тоже вечно возрождаться, подобно Фениксу».

И тут его подхватила новая волна радости: Ева была рядом.

Его лица коснулось легкое дыхание.

Чье же еще сердце могло биться так близко?

Он чувствовал: ему даны новые глаза, уши, нервы, открывающие невидимый мир, который пронизывает земное бытие. Последний покров готов был в любую секунду пасть, как закрывающая глаза повязка.

– Дай знак, что ты со мной, Ева! – тихо молил он. – Не обмани моей веры в твое возвращение.

– Каким жалким подобием обернулась бы любовь, если бы не могла преодолеть пространство и время, – услышал он ее шепот и был настолько потрясен, что волосы встали дыбом. – Здесь, в этих стенах, – вновь зазвучал тихий любимый голос, – я отходила от кошмаров земного бытия и здесь, склонившись над тобой, ожидала твоего пробуждения...

На него снизошел благодатный покой. Фортунат осмотрелся: комната наполнилась тем же радостным терпеливым ожиданием, словно лелеяла затаенный зов весны, все было готово встретить чудо непостижимого преобразования.

Сердце гулко стучало.

И он понял: эти стены, эти предметы, все, что окружало его, – не более чем внешние обманчивые формы, довлеющие земному зрению, словно упавшие на телесный мир жалкие тени невидимого царства. Вот-вот отворятся врата в обитель бессмертных.

Он постарался представить себе, что откроется его новым пробудившимся чувствам: «Увижу ли я Еву, как видел здесь? Смогу ли говорить и гулять с ней, как это делают земные существа?... Или же мы станем красками, звуками, не имеющими телесного образа, но способными переливаться друг в друга? Будут ли нас окружать предметы, как здесь? Пронесем ли мы лучами по бесконечным пространствам вселенной или вместе с нами преобразится вещественный мир и наше преобразование совершится в нем?» Он догадывался, что это будет какой-то очень естественный и в то же

время совершенно новый, пока что еще не понятный ему процесс, наподобие образования смерчей, которые, как он видел вчера, возникали из ничего, из невидимого воздуха, и обрели явственные, воспринимаемые всеми чувствами формы, чего он, однако, не мог объяснить.

Он замер в предощущении невыразимого блаженства, уже ничуть не сомневаясь в том, что реальность чудес, которые ему предстоит пережить, превзойдет все, что могло нарисовать его воображение.

Время шло.

Должно быть, уже полдень. Высоко в небе завис среди мглы светящийся диск.

Буря еще не улеглась.

Хаубериссер прислушался.

Как будто бы никаких признаков. Он посмотрел в окно. Прудов нет, их в прямом смысле ветром сдуло. Совершенно сухое пространство. И полная неподвижность. До самого горизонта ни единого кустика. Трава словно втоптана в землю. На небе ни облачка. Все сникло, как под гигантским колпаком.

Он взял молоток и бросил его на пол. Послышался грохот. «Значит, на дворе все стихло», – сообразил Фортунат.

Однако в городе еще бушевали вихри, как он убедился, глядя на Амстердам в бинокль. Они играючи поднимали в воздух каменные блоки; над гаванью вздымались водяные столбы, которые на глазах рассыпались и возникали вновь, а

потом в какой-то сумасшедшей пляске уносились к морю.

Но что это? Башни церкви св. Николая как будто пошатнулись... Одна вдруг обрушилась, другая, крутясь, как сухой лист, взлетела, исходя искрами, подобно фейерверку, замерла в воздухе...

Беззвучно рухнула.

У Хаубериссера кровь застыла в жилах.

Сваммердам! Пфайль!

Нет! Нет! Нет! Им не могла грозить беда. «Ха-дир, Вечное Древо рода человеческого, защищает их своими ветвями!» Разве не предсказал Сваммердам, что он переживет церковь св. Николая?

Ведь есть же островки, подобные лужайке с цветущей яблоней, на которых жизнь заговорена от уничтожения и сохранилась для грядущих времен!

Только теперь звук рухнувшего колокола достиг дома.

Стены дома вздрогнули и загудели под натиском воздушных волн: однотонный оглушительный рев, от которого, подумал Хаубериссер, кости вот-вот рассыпятся, словно хрупкое стекло, и на какой-то миг у него помутилось сознание.

«И обрушилась стена города до своего основания, – слышался дрожащий голос Хадира Грюна. – Вот пробужденный из мертвых»⁷⁷.

Мертвая тишина.

Потом закричал ребенок...

⁷⁷ Ис. Н. 6: 19.

Хаубериссер изумленно огляделся.

Наконец он пришел в себя.

Он узнал голые, лишённые всяких украшений стены своей комнаты, и в то же время это были стены храма, расписанные фресками с изображением египетских богов. И то и другое было реальностью. Он видел деревянные половицы и одновременно каменные плиты, устилающие пол храма, — два взаимопроникающих мира, они совершенно сливались и все же существовали сами по себе, как будто он бодрствовал и грезил в одну и ту же секунду. Фортунат коснулся рукой оштукатуренной стены, ощутил ее шероховатость и, однако, ничуть не сомневался в том, что его пальцы гладят высокую золотую статую, в которой он узнал богиню Исиду на ее величественном троне.

Его обыденному человеческому сознанию сопутствовало какое-то новое, которое обогащало его восприятием нового мира, обволакивающего и преображающего старый и все же чудесным образом сохраняющего его.

Все его чувства пробуждались как бы в удвоенном виде, подобно цветам из прорвавшихся почек.

У него пелена с глаз упала, и как человек, который всю жизнь воспринимал мир в двух измерениях и вдруг обрел объемное зрение, он долго не мог постичь, что с ним произошло.

Постепенно он понял, что прошел некий путь, это поприще есть цель сокровенного бытия всякого человека...

И опять закричал ребенок.

Разве не говорила Ева, что хочет стать матерью, когда воссоединится с ним?... При этой мысли его пробрала дрожь какого-то странного ужаса.

А что держит в руках богиня Исида? Это же голенький живой младенец!

Он поднял глаза и увидел улыбку на лице богини. Статуя шевельнулась.

Фрески становились все живее и ярче, вокруг стояли священные предметы. И все это виделось настолько отчетливо, что Фортунат уже забыл, как выглядит комната, перед ним было только внутреннее пространство храма с красно-золотым сиянием фресок.

Он заворожено смотрел в лицо богини, и постепенно оно становилось удивительно знакомым...

Ева! Это была его Ева, а не статуя египетской богини, матери всего сущего.

Он сжал ладонями виски, не смея поверить своим глазам.
– Ева! Ева! – крикнул он во весь голос.

Сквозь красочную роспись вновь проступили голые стены комнаты, богиня с улыбкой все еще восседала на троне, но совсем рядом с Фортунатом во всей своей безобманной жизненности появился как земное подобие небожительницы образ молодой, цветущей женщины.

– Ева! Ева! – в безграничном восторге воскликнул он, за-

ключив ее в объятия и покрыв поцелуями лицо любимой. – Ева!

Они долго стояли, слившись в объятиях, у окна и смотрели на мертвый город.

«Помогайте же вслед за мной возводить грядущим поколениям новое царство на обломках старого, – Фортунату казалось, что он слышит голос Ха-дира Грюна, – дабы пришло время, когда и я мог бы смотреть на мир с улыбкой».

Комната и храм виделись с одинаковой ясностью.

Подобно двуликому Янусу, Хаубериссер проник в миром два мира, земной и потусторонний, различая все черты и оттенки обоих.

В обоих мирах Он истинно живой.